
СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ
ВИТТА
ЛИНБЕРГ
ПОД ЕГО
18+
ЗАЩИТОЙ

Витта Линберг
Под его защитой

https://litres.ru/74724582
SelfPub; 2026

Аннотация

Я — Лев Северов. В криминальном мире Урала меня зовут Северным, и у меня есть железное правило, которое держало меня на плаву пятнадцать лет: никогда не трогать чужое. Ни деньги, ни женщин.

Но Витька Савельев, который когда-то вытащил меня из огня, совершил глупость — украл бухгалтерию синдиката и сбежал, оставив мне свою дочь. Умную, непуганую девушку с красным дипломом, Патриаршими прудами в анамнезе и абсолютной уверенностью, что мир вокруг — добрый и безопасный. Чтобы спасти ей жизнь, я привез её в свой глухой лесной особняк. И воевать теперь приходиться и с врагами, и с собственными демонами.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	11
Глава 3	16
Глава 4	22
Глава 5	31
Глава 6	38
Глава 7	47
Глава 8	52
Глава 9	60
Глава 10	67
Глава 11	72
Глава 12	75
Глава 13	84
Глава 14	91
Глава 15	98
Глава 16. Цена тишины	109
Глава 17. Ужин, который остыл	129
Глава 18. «Денис»	138
Глава 19. Предел	147
Глава 20. Ты всего лишь прислуга	156
Конец ознакомительного фрагмента.	161

Витта Линберг
Под его защитой

Глава 1

Лев

Есть люди, которые начинают говорить правду, только когда щекой прижаты к холодному металлу.

Гена Мухин из таких. Сорок три года, двое детей, дача в Сысерти, и с недавних пор у него долг передо мной в восемьдесят миллионов. Он стоит на коленях в третьем цехе. Цех закрыт на ночь, горит только аварийный свет. Я держу Гену за затылок и прижимаю его лицом к станине токарного станка. Станок старый, советский, весит четыре тонны. Его ровесники точили стволы для армии, которой давно нет.

— Лев Арсеньевич… — Гена хрипит, на станине под его губами остаётся мутное пятно от дыхания. — Лев Арсеньевич, я всё верну, клянусь, дайте месяц…

— Ты мне в марте говорил «дайте месяц».

— Обстоятельства…

— Обстоятельства, — повторяю я.

Голос не повышаю. Никогда. Кто орёт, тот боится, а мне бояться давно нечего. Пахнет машинным маслом, остывшей стружкой и дешёвым одеколоном Гены, который ещё и по-

том перебит. Страх пахнет кисло, вроде прокисшего молока. Этот запах я узнаю с закрытыми глазами.

— Гена. Посмотри налево.

Он скашивает глаза. На верстаке в полуметре от его лица лежит папка. В ней фотографии: дети у школы, жена на парковке «Гринвича», дача, номер его второй машины, оформленной на тёщу. И выписка со счёта на Кипре, о котором, по мнению Гены, не знает никто.

Гена тихо всхлипывает, как ребёнок, которого заперли в тёмной комнате.

— Я твоих детей не трону, — говорю я. — Я не трогаю детей. Это не доброта, просто правило. Но счёт на Кипре закрывается завтра до двенадцати. Дача продаётся. Машина тёщи уходит Боцману, ему нравится цвет. Останется хвост, отработаешь. Кивни, если понял.

Мешает станок, но он кивает.

Я отпускаю его затылок. Гена сползает на бетон и сидит, обхватив себя руками. Он сломался, теперь он мой с потрохами. Ни удовольствия, ни злости я не чувствую. Вообще ничего. Работа.

Из темноты за спиной слышен голос Боцмана:

— Лёв. Телефон.

— Потом.

— Это Савельев.

Я поворачиваюсь.

Тимур Боцманов работает со мной одиннадцать лет. За

это время он ни разу не прервал меня во время разговора. Ни разу. Он стоит в проходе между станками, двухметровый, с бритой головой, и протягивает мне мой личный телефон. Номер этого телефона знают одиннадцать человек. Лицо у Боцмана такое, будто он держит гранату с выдернутой чекой.

На экране «В. С.». Звонок идёт уже восьмой раз.

Витя Савельев не звонил мне четыре года. Последний раз мы виделись на похоронах общего знакомого: стояли под снегом и молчали. Говорить нам было не о чем, и обоим это было удобно.

Я забираю трубку.

— Слушаю.

— Лёва.

Голос мёртвый. Витьку я знаю двенадцать лет. Я слышал его пьяным, слышал, как он орёт на банкиров так, что у тех трясутся руки. Я слышал его на складе на Эльмаше: тогда он, сорокачетырёхлетний бухгалтер в дорогих ботинках, сам надрывая лёгкие от дыма, волок меня через огонь за ворот куртки, а на мне горела спина. Таким я его не слышал никогда.

— Говори.

— Не по телефону. Ты в Екатеринбурге?

— Да.

— Я прилетаю в четыре сорок. Кольцово. Встреть меня сам, Лёва. Сам. Никого не бери.

— Витя…

— Меня убьют, — говорит он очень спокойно. — Через неделю. Может, через десять дней, если повезёт. Встреть меня.

Отбой.

Я смотрю на погасший экран. Гена тихо скулит на полу. Где-то под крышей капает с прохудившейся трубы.

— Что? — спрашивает Боцман.

— Отвези Гену домой. Поцелуй его жену в щёчку, чтобы он помнил. И подготовь мне машину. Не «Майбах». Что-нибудь менее приметное.

— Охрану?

— Сам.

Боцман смотрит на меня молча, и в этом молчании всё сказано. Двадцать минут назад я спокойно ломал человека и сейчас вроде бы так же спокоен. Только Тимур видит, что я уже трижды провёл большим пальцем по шраму на левой ладони. Этот жест я за собой не замечаю, а он замечает.

— Лёв, — говорит он. — Ты понимаешь, что если Савельеву конец, значит, за ним Хирург.

— Понимаю.

— И ты всё равно поедешь.

Я убираю телефон во внутренний карман.

— Он меня из огня вытащил, Тимур. Я горел, а он тащил. Сам потом месяц кашлял кровью. Я весил девяносто, он семьдесят, и у него в жизни ничего тяжелее портфеля в руках не было.

Больше Боцман не спрашивает.

Кольцово в пятом часу утра похоже на аквариум, из которого слили воду. Пустые стекляшки терминалов, жёлтый свет, редкие такси с сонными водителями. Октябрь, по асфальту хлещет мелкий злой дождь, на Урале такой бывает только осенью: смотреть противно, а пробирает до костей.

Я стою на крайнем ряду парковки Р2, у бетонной опоры, где не достают камеры. Машина серая «Тойота», за такие никто не цепляется взглядом. Курю. Сигареты у меня без фильтра, крепкие. Мой врач говорит, что я ими себя убиваю. Я ему отвечаю, что в очереди на это моё убийство он будет далеко не первым.

Витя выходит из терминала в четыре пятьдесят две и сразу кажется мне меньше ростом. На нём хорошее пальто, без чемодана, в руке только кожаный портфель. Он не бежит, но идёт так, как ходят люди, которые очень хотят побежать.

Он садится на пассажирское сиденье. От него пахнет самолётом, коньяком и бессонной ночью.

— Здорово, Лёва.

— Здорово.

Мы молчим. По лобовому стеклу течёт дождь. Я жду. Ждать я умею, пожалуй, лучше всего на свете. Кто первый заговорил, тот первый проиграл. Только сейчас мы не торгуемся, и я впервые за много лет не знаю, как вести себя по-

другому.

— Я ухожу от Захара, — говорит Витя.

Я медленно выпускаю дым в приоткрытое окно.

— От Захара не уходят.

— Знаю.

— Двадцать лет ты ему деньги мыл. Ты не просто знаешь, где у него трупы закопаны. Ты эти ямы своими руками оплачивал.

— Знаю, Лёва. — Он трёт лицо ладонями, и я вижу, как у него дрожат пальцы. — Поэтому я забрал с собой бухгалтерию. Всю. Маршруты, счета, фамилии. Кто из Москвы сколько получал, кому в прокуратуре платили. Это моя страховка.

— Это твоя смерть, Витя, а не страховка. Ты с этой страховкой даже до Абхазии не доедешь.

— Доеду. — Он смотрит на меня. Глаза красные, но голос неожиданно твёрдый. — Я доеду, у меня есть, где лечь. Я один выживу, я это умею. Дело не во мне.

Он открывает портфель, достаёт фотографию, настоящую, бумажную, со слегка загнутым уголком, и кладёт её мне на колено.

Я не сразу на неё смотрю. Сначала докуриваю. Потом смотрю.

Девушка у фонтана. Лето, солнце бьёт в объектив, по краю кадра идёт блик. У неё тёмные волосы, длинные, растрёпанные ветром, одна прядь прилипла к губам. Она смеётся, запрокинув голову, во весь рот. Платье белое, простое. На тон-

ком запястье браслет, явно дорогой, ей велик и съехал почти к ладони.

Глава 2

— Ариана, — говорит Витя. — Ей двадцать три. Переводчица. В июне диплом получила, красный. Английский, итальянский выучила. Она ничего не знает, Лёва. Вообще ничего. Она думает, что её папа консультант по инвестициям.

— Да ты и есть консультант по инвестициям. Специфическим.

Он не улыбается.

— Захару нужна флешка. Флешку он не найдёт, я её спрятал так, что сам себе удивляюсь. И тогда он возьмёт её. — Палец Вити ложится на фотографию, на смеющееся лицо. — Ты знаешь, что он сделает. Он её не убьёт сразу, нет. Он будет присылать мне её по частям, пока я не приползу.

Я знаю. Шесть лет назад я видел, что Хирург сделал с женой одного банкира. Женщина выжила, а сам банкир — нет. До сих пор не уверен, кому из этих двоих повезло больше.

— Спрячь её, Лёва. — У Вити ломается голос. — Мне больше некого просить. У тебя дом, у тебя люди, у тебя Захар… Захар тебя боится. Единственного во всей стране, наверное, боится. Ты один можешь сделать так, чтоб к ней никто не подошёл.

Я смотрю на фотографию.

Нянька. Мне тридцать четыре года. Через мои руки про-

ходят партии, ради которых в Африке меняются правительства. Губернатор звонит мне сам и называет по отчеству. И мне предлагают стать нянькой для папиной принцессы с красным дипломом.

Северный, блядь. Нянька. Докатился.

— Она меня в первый же день пошлёт, — говорю я. — Если она хоть чуть-чуть похожа на тебя.

— Она пошлёт, — неожиданно соглашается Витя, и на секунду в его лице мелькает что-то похожее на старую улыбку. — Она тебя так пошлёт, что ты обалдеешь. Поэтому слушай. Она не должна знать, кто ты.

— Это как?

— Я ей скажу, что улетаю в Дубай. Большой контракт, два-три месяца, связь плохая. А ты… — он сглатывает. — Ты охранник. Водитель-телохранитель, которого я нанял. Из-за одной истории с конкурентами, мелочи, для перестраховки. Персонал, понимаешь? Она к персоналу привыкла. Ей не будет страшно.

Я смотрю на него так долго.

— Ты хочешь, чтобы я изображал твою прислугу.

— Я хочу, чтобы моя дочь спала по ночам. — Витя смотрит мне прямо в глаза. — Пусть думает, что мир нормальный. Ещё хоть немного. Если она узнает, кто я, это её убьёт раньше Захара. А если узнает, кто ты, она будет бояться тебя так, что сбежит в первую ночь. Прямо к нему в руки.

Логика у него есть, этого не отнимешь. Витя всегда хоро-

шо считал.

— Сроки?

— Пока я не договорюсь. Или пока Захар не сдохнет.

— Второе быстрее, — говорю я.

Витя вздрагивает и долго смотрит на меня, а потом очень тихо говорит:

— Только её не впутывай. Что бы ты там ни решил с Захаром. Она должна остаться чистой, Лёва. Хоть кто-то из нас.

Я снова беру фотографию.

Задерживаю на ней взгляд на секунду дольше, чем нужно. Отмечаю это сразу и злюсь, как злюсь на сбитый прицел. Ничего особенного в ней нет. Красивая, да. Красивых много, я покупаю красивых, когда хочется, и забываю их имена раньше, чем они выходят за дверь. Дело не в этом. Дело в том, как она смеётся: так, будто ей обещали, что ничего плохого никогда не случится.

И она в это поверила.

Я переворачиваю фото лицом вниз.

— Правила мои, — говорю я. — Я решаю, где она живёт, с кем говорит, куда ходит. Телефон я у неё заберу. Если начнёт дёргаться, я её запру и плевать хотел, что она обо мне подумает. Ты не звонишь ей сам. Только через меня, только с чистых номеров, которые я дам.

— Хорошо.

— И, Витя. Если я узнаю, что ты мне соврал хоть в чём-

то, если в этой истории есть дно, которого ты мне не показал, я закрою долг. Раз и навсегда. Понимаешь, о чём я?

Пауза совсем маленькая. Полсекунды. Будь на месте Вити кто угодно другой, я бы на этой половине секунды вцепился в него как бультерьер и вытряс правду.

Но это Витя. Тот самый, со склада на Эльмаше.

— Понимаю, — говорит он. — Никакого дна.

Я ему верю.

Он отдаёт мне ключи от московской квартиры на Патриарших, листок с кодом домофона, список её привычек, напечатанный на принтере, будто инструкцию к дорогой технике.

Пьёт кофе только с овсяным молоком. Боится темноты, но никогда не признается. Не выносит, когда ей говорят «нет».

Последний пункт я перечитываю дважды и усмехаюсь.

Ну, девочка. Теперь научишься.

Витя уходит в терминал не оглядываясь. Через сорок минут у него рейс в Сочи, оттуда машина через границу. Я жду, пока его пальто растворится в жёлтом свете, и только тогда завожу мотор.

Звоню Боцману.

— Завтра я в Москве. Возьми двух чистых ребят, без судимостей, морды попроще. Дом на озере подготовь: периметр, камеры, связь. Прислугу предупреди.

— О чём?

Я выезжаю с парковки. Дворники размазывают по стеклу рассвет, мутный, свинцовый.

— О том, что с завтрашнего дня я там не хозяин. Я там водитель. Зовут меня Лев. Просто Лев. Кто при ней назовёт меня боссом, тому я лично вырву язык, и это не фигура речи, Тимур.

В трубке тишина. Потом Боцман осторожно спрашивает:

— Лёв. Ты в порядке?

— В полном. Схема тут для дочки Витиной.

— Ты понимаешь, что ты сейчас подписался три месяца подавать девке пальто?

Я смотрю на фотографию на пассажирском сиденье. Она так и лежит лицом вниз, но я всё равно вижу её лицо. Прилипшая к губам прядь. Съехавший браслет. Смех человека, которого никто никогда не бил.

— Понимаю, — говорю я.

И, конечно, вру.

Я не понимал тогда ни хрена. Я думал, что везу к себе в дом проблему, которую надо переждать, как плохую погоду: три месяца, может, четыре. Я думал, что самое трудное будет промолчать, когда она швырнёт мне в лицо свои ключи.

Я не знал, что через месяц буду готов сжечь ради неё половину Урала.

И что первым гореть начну я сам.

Глава 3

Ариана

Записку я нахожу в семь сорок утра, рядом с кофемашиной. Отец знает, что первым делом я иду именно туда.

Лист из его ежедневника, сложенный пополам. Почерк обычный, крупный и угловатый, только строчки к концу съезжают вниз, будто он писал на весу или очень торопился.

«Ариша. Улетел ночью в Дубай, срочный контракт, подробности потом. Будить не стал, ты бы начала спорить, а я опаздывал. Это месяца на два, может, на три. Связь там будет плохая, звонить буду сам. Из-за одной истории с конкурентами я нанял тебе водителя-охранника. Его зовут Лев, он приедет к десяти. Пожалуйста, слушайся его. Пожалуйста. Люблю тебя больше жизни. Папа».

Я перечитываю записку трижды. На слове «пожалуйста» каждый раз спотыкаюсь. Отец не говорит «пожалуйста» два раза подряд, он вообще не просит. Двадцать лет он дирижирует людьми по телефону, не повышая голоса, и все пляшут.

Набираю его. «Абонент выключен или находится вне зоны действия сети». Набираю ещё раз, и ещё. Тот же голос, равнодушный, как у кассового аппарата.

Ладно. Самолёт. Он в самолёте, логично.

Кофемашина гудит и выплёвывает эспрессо. Я заливаю его овсяным молоком, сажусь на подоконник, поджимаю но-

ги и смотрю на Патриарший пруд. Над ним висит серая октябрьская морось, по дорожкам бегут люди в одинаковых наушниках. Обычное утро. Совершенно обычное утро, и чашка у меня в руках почему-то подрагивает.

Месяца на два, может, на три.

Он улетел и не попрощался. Мой отец, который в восьмом классе отменил переговоры в Лондоне, потому что у меня была ангина. Который звонит мне трижды в день, даже когда я на синхроне в кабине и прямо сказала ему, что не возьму трубку.

Улетел ночью. Не разбудив.

Я злюсь. Злиться гораздо проще, чем думать о том, почему у меня мёрзнут пальцы в тёплой квартире.

В девять пятьдесят восемь звонит домофон.

Я специально не тороплюсь. Допиваю второй кофе, поправляю волосы перед зеркалом в прихожей и раздражаюсь на саму себя, когда понимаю, что поправляю их для охранника. Открываю на третий звонок.

И первую секунду просто смотрю.

Он занимает весь дверной проём. Не «высокий» и не «крупный», а именно занимает, словно квартиру строили под нормальных людей, а потом сюда пришёл он и стало тесно. Чёрный свитер, явно с рынка, растянутый у горловины. Джинсы. Куртка перекинута через руку. Тёмные волосы коротко острижены, на подбородке щетина дня в три. Лицо не то чтобы некрасивое, скорее неудобное: тяжёлая челюсть,

сломанная когда-то переносица, светлые глаза под низкими бровями. Серые или зелёные, в полумраке площадки не понять.

Он смотрит на меня так, как смотрят на дверь, проверяя, крепкий ли замок. Сверху вниз, коротко и оценивающе. И тут же отводит взгляд мне за плечо, в квартиру.

— Ариана Викторовна, — говорит он. Не спрашивает, утверждает.

Голос низкий и тихий, с хрипотцой, будто он много курит или мало разговаривает.

— Доброе утро, — говорю я так, как говорю официантам в ресторанах, где меня знают. — Вы Лев?

— Я Лев.

Он проходит мимо меня внутрь, не дожидаясь приглашения. Просто проходит, я даже не успеваю отступить, и мне приходится вжаться в стену, чтобы он не задел меня плечом. От него пахнет холодом с улицы, табаком и чем-то металлическим, сладковато-масляным. Этот запах мне незнаком, и мозг тут же пытается его разобрать, как незнакомое слово в тексте.

— Простите, — говорю я его спине. — Я вас не приглашала.

— Ага, — говорит он и идёт по коридору.

Не в гостиную, а сразу к окнам. Встаёт сбоку от рамы, так чтобы его не было видно с улицы, и смотрит вниз, на переулок. Потом идёт в кухню, к другому окну. Потом в мою

спальню.

В мою спальню.

— Стоп. — Я догоняю его у двери. — Туда нельзя.

Он уже внутри. Окидывает взглядом незаправленную кровать, моё бельё на кресле, открытый ноутбук, книги на полу. Ни на чём не задерживается, совсем ни на чём, будто я предмет интерьера, а мой лифчик на подлокотнике — пыль. Подходит к окну, дёргает ручку и проверяет, как открывается створка.

— Вы меня слышите?

— Слышу.

— Тогда выйдите из моей комнаты.

Он закрывает окно. Поворачивается. И впервые смотрит на меня по-настоящему, прямо в глаза, секунды три. Я не знаю, что в этом взгляде, но мне вдруг хочется сделать шаг назад, но я его не делаю. Из чистого упрямства.

Он выходит. К моему удивлению, молча.

Хорошо. Начнём сначала.

Я сажусь в гостиной в кресло и закидываю ногу на ногу. Это поза для переговоров, когда мне нужно, чтобы клиент помнил, кто тут главный. Он стоит. Сесть я ему не предлагаю.

— Давайте сразу договоримся, — говорю я. — Чтобы потом не было недоразумений.

Он ждёт. Лицо ничего не выражает.

— Мой отец, видимо, решил, что мне нужна охрана. Я так

не считаю, но спорить с ним, пока он в самолёте, бессмысленно. Поэтому пока вы здесь, у нас будут правила. Ко мне обращаться на «вы». В мою комнату без стука не входить. Вообще, по возможности, не входить. Курить на улице, не на балконе, не в подъезде. От вас пахнет табаком, я это чувствую. Возить меня, куда скажу, и ждать, сколько нужно. В мои разговоры не вмешиваться. И не надо так на меня смотреть.

— Как?

— Как будто я… — я ищу слово и злюсь, что ищу, я переводчик, слова — моя работа. — Как будто я объект.

Он чуть наклоняет голову.

— Вы и есть объект, Ариана Викторовна. Охраняемый.

Он говорит это абсолютно ровно, без улыбки, без издёвки. И от этого становится только хуже.

— Ещё вопросы? — спрашиваю я ледяным тоном.

— Телефон.

— Что «телефон»?

Он протягивает руку ладонью вверх.

Я смотрю на эту руку. Широкая, тяжёлая ладонь. На костяшках белые бугорки старых шрамов, будто их ломали не один раз. Через ладонь, от основания большого пальца к запястью, идёт длинный рубец.

— Вы шутите?

— Нет.

— Это мой личный телефон. Там моя работа, мои контак-

ты, у меня в четверг синхрон на форуме…

— Синхрона в четверг не будет.

— Что?

— Нихуя в четверг не будет, — говорит он так же ровно, будто сообщает прогноз погоды. — Ни синхрона, ни форума. Ни подружек, ни кафе. Телефон.

Глава 4

На секунду у меня просто отключается речь. Двадцать три года, два языка, красный диплом, и я сижу с открытым ртом, как рыба.

— Вы, — наконец выговариваю я, — как вы со мной разговариваете?

— Как умею. Телефон давай.

— Давайте.

Он медленно выдыхает через нос. Вид у него такой, будто он мысленно считает до десяти и где-то на шести бросает.

— Слушай сюда, принцесса. — Он делает шаг, и кресло вдруг кажется мне очень низким. — Твой отец заплатил за то, чтобы ты была живая. Не за то, чтобы ты была довольная. По твоему телефону тебя может найти любой мудак, у которого есть знакомый в сотовой компании и пять тысяч рублей. Так что либо ты мне его отдаёшь, либо я его забираю. Второй вариант тебе понравится меньше.

— Не смейте мне угрожать.

— Я не угрожаю. Я объясняю. Если бы я угрожал, ты бы, блядь, сразу поняла.

Я встаю. Мы почти вплотную, мне приходится задрать голову, у меня макушка на уровне его подбородка. Этого я не учла.

— Вы уволены, — говорю я.

— Нет.

— Я сейчас позвоню отцу…

— Звони. — Он даже бровью не ведёт. — У него выключен телефон. И будет выключен. Он будет звонить сам, с других номеров, через меня. Это его условия, не мои.

Это меня останавливает. Не его тон, не его рост, а то, что он знает. Знает, что телефон отца выключен, и знает это наверняка.

— Откуда вы…

— Работа такая.

Телефон лежит на подлокотнике. Я тянусь за ним. Это даже не решение, просто рефлекс: схватить, убежать в ванную, закрыться, звонить, звонить кому угодно.

Он перехватывает моё запястье.

Без рывка, без боли. Его пальцы просто смыкаются, и я понимаю, что не могу пошевелить рукой. Вообще. Будто мою руку вмуровали в бетон. Он ничего специально не делает. Ему не нужно стараться.

Ладонь у него горячая, сухая и шершавая. На подушечке указательного пальца и на перепонке у большого твёрдые мозоли, какие бывают у гитаристов. Только он не гитарист, это я понимаю сразу, кожей и где-то в животе. Не знаю, откуда у людей такие мозоли. Не хочу знать.

Он смотрит на свою руку на моём запястье. Потом на меня. И что-то в его лице на долю секунды меняется. Как буд-

то там, за этим непробиваемым спокойствием, кто-то резко дёрнул стоп-кран.

Он разжимает пальцы, забирает телефон с подлокотника и убирает к себе в карман.

— Отдам, когда твой отец вернётся, — говорит он и отворачивается. — Если ещё будет что отдавать.

Моё запястье горит. На коже нет ни следа, ни красноты, ничего. Но горит.

Дальше начинается то, что в нормальном мире назвали бы обыском.

Он проверяет мой ноутбук, вынимает из него что-то, какой-то модуль, я даже не знала, что он там есть. Отключает роутер. Находит планшет в ящике комода, хотя я про него сама забыла, и тоже кладёт в карман. Берёт со стола мой паспорт, листает и убирает себе.

— Паспорт-то зачем?!

— Чтоб ты не купила билет и не свалила, куда глаза глядят.

— Я взрослый человек!

— Ты взрослый человек, — соглашается он, открывая шкаф в прихожей, — у которого, блядь, полный шкаф белых пальто. В Москве. В октябре. Где тёмная одежда?

— Вам-то какое дело до моей одежды?

— Белое видно за километр. Особенно ночью. Особенно через оптику.

Он произносит это между делом, перебирая вешалки, и я не сразу понимаю смысл. А когда понимаю, у меня холодеет затылок.

— Через какую ещё оптику?

Он не отвечает. Достаёт моё единственное чёрное пальто, короткое, которое я не люблю, и бросает на банкетку.

— Собирайся. Вещей на две недели, потом докупим. Тёплое. Обувь без каблуков. Час.

— Куда собираться?

— Уезжаем.

— Куда?!

— Туда, где тебя никто не найдёт.

— Я никуда не поеду. — Я встаю у двери в спальню, как будто это может кого-то остановить. — Я никуда не поеду с человеком, которого вижу впервые в жизни, без телефона и без паспорта. Вы вообще понимаете, как это выглядит? Это похищение.

Он поворачивается. Медленно.

И тут я впервые вижу его по-другому. Не как раздражающего персонала, не как неотёсанного мужика из охранного агентства. Он стоит посреди моей прихожей, огромный, в своём нелепом свитере, и смотрит на меня так спокойно, что мне становится по-настоящему страшно. Не «неприятно» и не «некомфортно». Страшно, как бывает на краю крыши.

— Если бы это было похищение, — говорит он тихо, — ты бы уже час ехала в багажнике. С мешком на голове. И не

задавала бы ебучих вопросов.

Тишина. В кухне тикают часы, которые мама когда-то привезла из Вены. Я их слышу, кажется, впервые в жизни.

— Вот, — он лезет в задний карман джинсов и протягивает мне сложенный лист. — Читай.

Почерк отца. Короче, чем утренняя записка:

«Ариша, это Лев. Ему можно верить, как мне. Делай, что он говорит. Это ненадолго. Папа».

Как мне.

Я поднимаю глаза.

— Почему он мне ничего не сказал? Почему не дождался?

Что-то мелькает у него в лице, совсем на секунду. Не жалость, на жалость он, по-моему, вообще не способен. Скорее как будто я задела что-то, чего он не ожидал.

— Потому что ты бы начала спорить, — говорит он. — Как сейчас. А он опаздывал.

Слово в слово как в записке. Это могло быть совпадением. Могло.

Я собираюсь сорок минут из часа, а оставшиеся двадцать сижу на краю кровати, держа в руках свитер, и не понимаю, зачем его держу.

Он стоит в коридоре у окна. Я вижу его отражение в зеркале шкафа. Он не смотрит на меня. Он смотрит вниз, в переулок, уже минут пять, не отрываясь, и левой рукой, большим пальцем, медленно проводит по ладони, по тому рубцу. Туда-обратно.

Потом достаёт свой телефон, старый, кнопочный, такие я видела только у бабушки, и говорит в него совсем другим голосом. Голос тот же, но интонация такая, что у меня на руках встают волоски:

— Тимур. Синий «Пассат» у арки. С девяти стоит, с двумя. Нет. Нет, сам. Пусть машину подгонят к другому выходу, через двор. Через десять минут. И номера пробей, блядь, кто такие.

Он убирает телефон. Ловит мой взгляд в зеркале.

Я быстро отворачиваюсь, как пойманная на подглядывании школьница.

— Готова? — спрашивает он.

— Кто такой Тимур?

— Коллега.

— А «Пассат»…

— Ерунда. Соседи, наверное.

Он врёт. Я перевожу людей с двадцати лет и вижу, как врут, на любом языке. Обычно это заметно по паузам, по тому, как человек тянется к подбородку или отводит взгляд. Он ничего такого не делает. Он врёт мне в лицо так спокойно и ровно, что я понимаю это только потому, что он даже не пытается быть убедительным.

Ему всё равно, поверю я или нет.

И это пугает больше, чем синий «Пассат».

Он берёт мою сумку, тяжёлую, я положила туда, кажется,

половину жизни, и несёт её одной рукой, как пакет из магазина. Мы выходим через чёрный ход, о существовании которого в нашем доме я не знала. Спускаемся по служебной лестнице, где пахнет хлоркой и мокрым бетоном.

У последнего пролёта он вдруг останавливается и выставляет руку назад, не глядя. Ладонь упирается мне в живот, и я замираю.

Он прислушивается. Секунда. Две. Тёплая тяжёлая рука прямо под рёбрами, через тонкий свитер. Я чувствую каждый его палец. И чувствую, как у меня сбивается дыхание, глупо, не к месту, от этой руки, а вовсе не от страха.

— Чисто, — говорит он и убирает руку.

Во дворе стоит большая тёмная машина с тонированными стёклами. Не новая, не блестящая, такая, на какой и должен ездить нанятый охранник. Он открывает передо мной заднюю дверь.

Я останавливаюсь.

— Я сяду вперёд.

— Сзади.

— Вперёд. Меня укачивает.

Он смотрит на меня сверху вниз и вдруг усмехается впервые за утро. Уголком рта, коротко, без всякого веселья.

— Укачивает её, — говорит он себе под нос. — Охуеть. Ну садись, принцесса. Пакет в бардачке.

Я сажусь вперёд, и это моя первая победа. Мне требуется почти час дороги, чтобы понять: никакая это не победа. Он

просто решил, что так ему удобнее меня видеть.

Мы выезжаем из двора. На повороте я оборачиваюсь. У арки действительно стоит синий «Пассат», и двое в нём не смотрят в нашу сторону. Совсем не смотрят, слишком старательно.

— Лев, — говорю я.

— Мм.

— Сколько вам платит мой отец?

Он перестраивается в левый ряд. Машина идёт плавно, как по рельсам.

— Достаточно.

— Я заплачу вдвое больше, если вы отвезёте меня обратно.

Он молчит так долго, что я решаю: не ответит. Москва за окном становится серой, мокрой и чужой. Потом он говорит, не глядя на меня:

— У тебя столько нет.

— Вы даже не знаете, сколько у меня есть.

— Знаю, — говорит он. — Три миллиона двести на «накопительном». Карта отца с лимитом. И браслет, который тебе велик. Ты его всё время поправляешь. Он стоит больше, чем вся эта машина, и ты понятия об этом не имеешь.

Я опускаю глаза на своё запястье. На браслет, который папа подарил мне на двадцатилетие. Я и правда его поправляю постоянно, даже сейчас.

— Откуда вы… — начинаю я и не договариваю.

Он включает поворотник.

— Спи, — говорит он. — Ехать долго.

— Я не устала.

Лев смотрит на дорогу. Профиль тяжёлый, неподвижный, будто вырубленный из того же серого камня, что и небо над МКАДом.

Маленькая лампа под потолком горит жёлтым. Я смотрю на неё, на его руки на руле, на белый шрам через ладонь, и думаю: отец нанял мне не охранника.

Я пока не знаю, кого именно.

Но точно не охранника.

Глава 5

Лев

До дома мы добираемся уже за полночь.

Всю дорогу она молчит. Сначала был Внуково-3 и самолёт, который она приняла за «рейс какой-то частной компании, с которой отец работает». Я не стал её разубеждать. Потом Кольцово, мокрый чёрный асфальт и Боцман у трапа в куртке охранной фирмы, без привычной бритой злобы на лице. Тимур умеет быть мебелью, если очень попросить. На Ариану он даже не взглянул, только кивнул мне как совершенно постороннему человеку:

— Лев. Машина готова.

— Спасибо.

Это «Лев» из его рта звучало так, будто он держит во рту горячий уголь. Я чуть не заржал, но сдержался.

Теперь мы едем по лесной дороге. Сосны стоят стеной и качаются под ветром, фары выхватывают мокрую хвою, а где-то слева, за деревьями, угадывается озеро: чёрное, неподвижное, без единого огня.

Она сидит рядом, подогнув ногу, и смотрит в окно. Не на меня. Я это чувствую всем телом.

Салон наполнился ею. Я не заметил когда. Какой-то шампунь, цитрус и что-то тёплое под ним, чистая кожа. Я открываю окно на два пальца, чтобы выдуть запах, но он только

сильнее заходит в нос вместе с холодным воздухом. К Екатеринбургу я уже пять раз успел подумать, что это самая тупая вещь, которую я делал в жизни: сидеть в одной металлической коробке с женщиной и пытаться не дышать.

Двадцать три года, Северный. Дочь Витьки. Дыши ртом, блядь.

Я дышу ртом. Помогает слабо.

— Долго ещё? — Голос у неё сухой, хриплый от молчания.

— Десять минут.

— Чей это дом?

Вопрос я ждал. Историю мы с Боцманом отрепетировали ещё днём.

— Знакомого твоего отца. Он сейчас за границей. Дом пустой, отец договорился.

— Как зовут знакомого?

— Не знаю.

— Вы не знаете, чей дом охраняете?

— Мне не обязательно знать. — Я пожимаю плечами. — Мне сказали, где ты будешь жить, я проверил, что тут безопасно. Остальное не моё дело.

Она поворачивается, смотрит на меня долго. Профиль у неё хороший, холодный: прямой нос, чуть вздёрнутая верхняя губа, ресницы. Влажные волосы после дождя на воротнике. И вот в этот момент, пока она меня разглядывает, у меня в голове проскакивает мысль, которой там быть не должно.

Какого хуя у неё такая шея.

Я перевожу взгляд на дорогу.

— Вы очень странный охранник, — говорит она наконец.

— Какой есть.

— Нет, правда. — Она склоняет голову. — Вы никогда не говорите «извините». Вы не говорите «пожалуйста». Вы не спрашиваете, что я хочу. Вы всё решаете сами и сообщаете мне как факт. Охранники так себя не ведут.

— А как ведут?

— Они… — Она ищет слово, и я вижу, как ей это не нравится. — Угодливее.

Я смеюсь. Коротко, по-настоящему, хрипло. Само вырвалось.

— Угодливые охранники, принцесса, это те, которых убивают первыми. Я живой не потому, что вежливый.

Она не отвечает. Но и не отворачивается, а смотрит на меня странно, будто на сложное предложение, которое никак не поддаётся переводу.

Осторожнее.

Я сбрасываю скорость перед поворотом. Впереди горят фонари. Двухметровые ворота из чёрного металла медленно разъезжаются, камера на столбе провожает нас красным глазком.

Дом стоит в сосновом лесу над озером: три этажа, тёмный камень, много стекла. Я строил его пять лет и жил в нём урывками. Не дом, а место, где можно закрыться от людей.

Врагов у меня, как у собаки блох, и поэтому в каждом окне стоит стекло, которое остановит калибр 12,7.

Обо всём этом она не знает. Она видит только красивый дом богатого знакомого отца, и пусть видит.

Я паркуюсь у крыльца. На ступенях, как на смотре, выстроилась прислуга: экономка Нина Павловна, шестидесяти лет, которая когда-то работала у меня на кухне и пережила два покушения, горничные в серых платьях и водитель Серёга, у которого лицо человека, увидевшего привидение. По периметру двое новых охранников в чёрном.

Я вчера лично вбил им в головы:

«Для девушки я Лев. Просто Лев, водитель. Скажете «босс» или «Лев Арсеньевич» хоть раз, так вам лучше самим собой подавиться, чем мне объяснять потом, почему я вам язык вырвал. Усвоили?»

Усвоили. Судя по лицам, усвоили очень хорошо. Только вот лица эти сейчас застыли в таком идеальном спокойствии, что сразу видно: ребята готовы свалиться в обморок.

Я глушу мотор. Вытаскиваю ключи.

— Приехали.

Ариана выходит из машины так, будто её только что выпустили из тюрьмы. Распрямляет плечи, поправляет пальто. Осматривает дом и людей на ступенях взглядом хозяйки, пришедшей с проверкой.

Это забавно. Я не улыбаюсь, но внутри что-то тёплое и опасное шевелится.

Она поднимается по ступеням. Нина Павловна делает шаг вперёд:

— Добро пожаловать, Ариана Викторовна. Меня зовут Нина Павловна, я экономка. Вас ждёт комната на втором этаже, ужин, если…

— Спасибо, — Ариана останавливает её едва заметным жестом. — Я не голодна. Горячую ванну, пожалуйста. Через двадцать минут. И чай, но не чёрный, я пью зелёный с жасмином. Если в доме нет жасмина, пусть кто-нибудь съездит.

Ночь. Лес. До ближайшего магазина двадцать километров.

Нина Павловна открывает рот. Закрывает. Она стреляла из «Макарова» по двум бандитам на моей кухне, а теперь в её глазах написана тихая паника.

Она смотрит на меня.

Это ошибка. Все люди на ступенях смотрят на меня, одновременно, как стая птиц, которая услышала выстрел. Секунда, не больше, но Ариана ловит её. Я вижу, как она замечает этот взгляд, моргает и поворачивается ко мне.

Нет. Это пока не подозрение. Это просто растерянность.

Я смотрю на Нину Павловну тяжело и ровно.

— Жасмин, — говорю я. — Найдите.

— Да… Лев, — выдавливает Нина Павловна.

Она произносит моё имя так, будто глотает стекло.

— И чтобы без вопросов, — добавляю я тише. — Ариана Викторовна устала.

— Конечно. Сию минуту.

Ариана смотрит на меня, на экономку, снова на меня. Подбородок у неё чуть вздёргивается. Ей понравилось. Ей, мать её, понравилось, что я командую от её имени.

— Вот видите, — говорит она, — можно ведь и по-человечески.

Странные у неё представления о человечности, если честно.

— Вижу.

Я иду к машине достать её сумку. Багажник открывается мягко, я наклоняюсь, берусь за ремень и слышу за спиной лёгкий звон.

Оборачиваюсь на звук.

Ключи.

Мои ключи от машины. Я оставил их на панели, когда доставал сумку, а она взяла. Секунду стоит, подбрасывает их на ладони, глядя на меня снизу вверх. Потом поднимает руку и швыряет мне.

— Машину в гараж, — говорит она. — И сумки в мою комнату. Только осторожнее, там фарфоровая чашка, подарок мамы.

Ключи летят в воздухе. Я ловлю их автоматически, левой рукой, не глядя, на уровне груди.

Во дворе тишина. Нина Павловна побледнела так, что ей, кажется, нужен врач. У Серёги в руках дрожит зонт. Охранник у ворот, парень лет двадцати шести, красивый и глупый,

смотрит на Ариану, потом на меня, потом снова на неё.

Я стою с ключами в кулаке.

В голове у меня щёлкает один-единственный образ. Три года назад, подвал. Мужик, которого я должен был ломать, попытался швырнуть мне в лицо нож. Он не дожил до утра. Десять лет жизни я не знаю ни одного человека, который бы осмелился бросить мне что-то в руки. Тем более как собаке.

Сука.

Кровь ударяет в голову быстро и горячо. Я чувствую, как медленно сжимается челюсть, как в висках стучит пульс. Хочется подойти, взять её за подбородок и объяснить очень тихо, на ухо, что бывает с теми, кто так делает. А потом…

А потом я с изумлением замечаю, что меня не бесит.

Меня *заводит*.

Не злость. Не обида. Нет, это другое, тёмное, густое, и оно тянется вниз живота, как нагретая смола. Её надменная осанка, дрожащие от усталости, но упрямо расправленные плечи, подбородок, взгляд, которым она на меня смотрит, как на мебель. Всё это вдруг приобретает вкус.

Ты ебанулся, Лев.

Глава 6

— Что-то не так? — Она приподнимает бровь.

Я разжимаю пальцы. Ключи впиваются в ладонь зубчиками.

— Нет, — говорю я. — Всё так.

— Тогда почему вы стоите?

— Иду.

Я иду. Забираю сумку, ставлю в руки ошарашенному охраннику («В комнату. Бережно. Там чашка.»), сажусь в машину. Заезжаю в гараж. Ставлю её между «Майбахом», накрытым чехлом, и чёрным внедорожником, у которого в багажнике больше стволов, чем в иных ОВД.

Глушу мотор. Остаюсь сидеть в темноте.

Бью ладонью по рулю. Один раз, глухо.

— В меня десять лет, — шепчу я в пустоту, — никто не смел бросить даже подушку.

Тишина. Остывающий двигатель тикает.

— Десять, блядь, лет.

И тут я замечаю, что улыбаюсь. Улыбаюсь, как мальчишка. Я стираю улыбку ладонью с таким усилием, будто хочу содрать кожу.

Через сорок минут я нахожу Боцмана у себя в кабинете.

Кабинет на первом этаже, в дальнем крыле: стол, сейф, три монитора, на стенах ни одной картины. Тимур сидит в

моём кресле и крутит в пальцах гильзу. Увидев меня, не встаёт.

— Ну как? — спрашивает он.

— Что «как»?

— Первый вечер в должности. Ключи, я слышал, уже метнули.

Мне хочется врезать ему по скуле. Просто так, для профилактики.

— Кто сказал?

— Серёга. Он до сих пор икает. — Боцман откидывается на спинку. — Лёв, я одиннадцать лет с тобой. Я видел, как ты ломаешь людей за косой взгляд. А тут девчонка кидает тебе ключи, и ты идёшь ставить тачку. Ты в порядке?

— Я на работе.

— Угу. На работе.

— Пошёл на хуй, Тимур.

— Уже иду. — Он невозмутимо встаёт, кладёт гильзу на стол. — Вот что у нас по делу. Савельев в Сочи сел на борт, через Гагру к себе. Хирург его в Москве потерял, но квартиру на Патриках трогали. Синий «Пассат» — его люди, пара шестёрок, они только смотрят. Номера пробил, оформлены на фирму-пустышку в Мытищах. Дальше нитка тянется к Глебу.

Я поднимаю глаза.

— К какому Глебу?

— Шарову. Твоему заму по безопасности. Через третьи

руки, вроде ничего особенного. Пустышка когда-то обслуживала поставки на завод. Совпадение, скорее всего.

— Скорее всего, — повторяю я.

Совпадения я не люблю. Но Глеб со мной семь лет, он закрывал за меня такие вопросы, о которых я не рассказывал и Боцману. Я откладываю мысль в дальний угол и помечаю: вернуться.

— Поставь за ним тихий хвост. На всякий.

— Уже.

— Периметр?

— Двенадцать человек в смену, камеры, датчики движения. Сигнализация на озере. Если кто подойдёт с воды, я узнаю раньше, чем он выйдет на берег.

— Хорошо.

Боцман направляется к двери, но у порога останавливается.

— Лёв.

— Что?

— Она красивая, да?

Я не отвечаю. Просто смотрю на него тем взглядом, которым смотрят перед тем, как нажать на курок. Тимур поднимает ладони.

— Всё. Молчу. Но ты сам знаешь, что я хотел сказать.

— Знаю. И не хочу слышать.

Он уходит. Дверь мягко щёлкает.

Я остаюсь один и слышу, как наверху, на втором этаже,

течёт вода. Ванна. Её ванна. Звук тихий, почти неразличимый за толщей перекрытий, но я слышу. Каждую секунду. Как гул в ушах после выстрела.

Не думай.

Я вытаскиваю из пачки сигарету и в третий раз за вечер ловлю себя на том, что руки у меня не совсем твёрдые.

Нина Павловна находит меня в коридоре на втором этаже в начале второго.

— Лев, — говорит она вполголоса, и мне нравится, что она уже почти научилась этому имени. — Ариана Викторовна легла.

— Хорошо.

— Только… — Она мнётся. — Она попросила выключить в комнате свет совсем. Вся такая ровная, спокойная. Но когда я выходила, у неё руки были…

— Какие?

— Она вцепилась в одеяло. Знаете, как дети. И глаза всё время на дверь.

Я стою в полутёмном коридоре и смотрю на узкую полоску света под дверью Арианиной спальни. Она там, за деревом, меньше чем в пяти метрах. Если выйти на лестницу, можно услышать, дышит ли она ровно.

Список, который напечатал Витя. Пункт второй.

Боится темноты, но никогда не признается.

— Ночник, — говорю я.

— Простите?

— В кладовой на первом этаже, в коробке с лампочками. Маленький, жёлтый, с розеткой. Найдите. Поставьте у кровати, чтобы не бросалось в глаза. Если спросит, скажете, что так в доме принято, у хозяина страх перед сквозняками или ещё какая-нибудь чушь.

Нина Павловна смотрит на меня долго. Потом очень осторожно спрашивает:

— Хозяином будет кто?

Я мог бы сказать «никто». Мог бы сказать «я».

— Придумайте, — говорю я. — И не говорите ей, что я просил.

— Конечно, Лев.

Она уходит. Я слышу, как скрипит в кладовой дверца, как шуршит картон. Прислонившись к стене, жду. Через пять минут она проходит мимо меня с маленькой лампой в руке и скрывается в Арианиной комнате.

Тихий стук. Негромкое: «Простите, Ариана Викторовна, забыла оставить». Короткий ответ, которого я не разбираю. Потом Нина выходит, прикрывает дверь, и под ней теперь не белая, а тёплая жёлтая полоска.

Что-то внутри меня, до этого зажатое, выдыхает.

Я мотаю головой, спускаюсь вниз, выхожу на террасу.

Ночь холодная, звёздная. Дождь закончился, и небо над озером вымыто до блеска. Воздух пахнет хвоей, сыростью и дымом чьего-то костра, далёкого, по ту сторону воды.

Я закуриваю и опираюсь на перила.

Дом за спиной тёмный и тихий, свет горит только на втором этаже, в угловом окне. Тёплый, слабый, жёлтый. Я знаю, что это её окно. Знаю, что за ним в этот момент лежит на подушке тёмная голова с растрёпанными волосами, и девочка, которая считает меня прислугой, закрывает глаза.

Курю.

Первая сигарета горит быстро. Вторая тоже. К третьей я уже не пытаюсь врать себе.

Я думаю о том, как её запястье лежало в моей руке сегодня утром. Тонкое, горячее, пульс колотился в самую мою ладонь, как маленькая птица. Я не должен был его хватать. Я мог просто отобрать телефон, спокойно, с каким-нибудь «извините». Но она потянулась, и рука сама сжалась. Я привык сжимать то, что пытается уйти.

И пальцы до сих пор помнят.

Я думаю о том, как она смотрела на меня в салоне. Не со страхом, с любопытством, как смотрит человек, который читает на иностранном языке и не может подобрать слово. Двадцать три года, на шее тонкая цепочка, на запястье браслет, который стоит как вилла в Сочи. Умная, злая, избалованная, непуганая.

Моя, мать её, подопечная.

Я выдыхаю дым в небо.

— Лев Арсеньевич Северов, — говорю я тихо, вслух, как на допросе. — Тридцать четыре года. Крупнейший держатель теневых активов на Урале. Три судимости не состоя-

лись, потому что свидетели не дожили. Тебе девочка бросила ключи, и у тебя встал.

Слова повисают в холодном воздухе. Вот так, прямо и глупо, как оно есть.

Я не усмехаюсь. Мне не смешно.

Во мне нет ничего благородного. Я не из тех, кто мучается и страдает в благородных романах. Я хочу её. Тупо, позвериному, всем телом, с первой секунды, как увидел фотографию в машине. А сегодня увидел живую, и хочется только одного: затащить в ближайшую комнату, прижать к стене, чтобы вся эта королевская осанка осыпалась с неё, как штукатурка, и она сказала мне «пожалуйста» таким голосом, каким ещё никогда ни с кем не говорила.

Окурок обжигает пальцы. Я бросаю его вниз и достаю следующую сигарету.

Витя дал мне одно условие. Одно. «Только её не впутывай. Она должна остаться чистой».

Я прижимаюсь лбом к холодной деревянной балке и несколько секунд просто стою.

Не трогать то, что не твоё. Единственное правило, которое я никогда не нарушал. Ни разу, ни в Грозном, ни после, ни в самые поганые годы. Чужое не берут. Ни деньги, ни жён, ни людей. Даже если очень хочется.

А она не просто чужая. Она Витькина. Девочка, которую Витя доверил мне, как отдают самое ценное человеку, которому верят больше, чем себе.

— Ладно, — говорю я в темноту. — Хочу. Ну и хуй с ним. Хотеть не запрещено.

Пауза. Звёзды. Далёкий костёр на том берегу.

— Трогать запрещено.

Мне нужно, чтобы это прозвучало как закон. Чтобы я сам в него поверил.

Прозвучало так себе.

Наверху, в угловом окне, свет вдруг гаснет, потом через мгновение загорается снова, только слабее: теперь это ночник, тёплый жёлтый огонёк у кровати. Видимо, она решилась. Или не выдержала.

Я докуриваю до фильтра, смотрю на этот огонёк ещё минуту и ухожу в дом.

На лестнице меня встречает Нина Павловна с подносом, на котором остывший чай и нетронутая тарелка с едой.

— Не съела?

— Нет. Я ей сказала, что вы велели принести ужин, и она ответила…

— Что?

Нина Павловна смущённо поджимает губы.

— Она сказала: «Передайте водителю, что я не нуждаюсь в его заботе».

Мгновение я стою на лестнице молча.

Потом отбираю у неё поднос.

— Я отнесу.

— Лев, она просила…

— Я отнесу, Нина Павловна.

Она отходит в сторону. Я поднимаюсь на второй этаж с подносом в руках, чувствуя себя абсолютным кретином и совершенно не желая останавливаться. Подхожу к двери. Желтая полоска под ней тихо светится.

Поднимаю руку, чтобы постучать. И застываю.

Из-за двери доносится звук. Очень тихий, почти неразличимый. Девушка, которая весь день держала спину прямой, лежит в чужом доме, в чужой постели, и плачет, закусив подушку.

Моя рука зависает в сантиметре от дерева.

Я мог бы войти. Мог бы сесть рядом, сказать что-нибудь тупое, вроде «всё будет нормально». Мог бы наврать про отца. Мог бы, хотя я не умею, взять её на руки и держать, пока не уснёт.

Не мог бы только одного: быть при этом просто водителем.

Я опускаю руку. Ставлю поднос на пол у двери, ровно, без звука. Выпрямляюсь.

— Спокойной ночи, принцесса, — говорю я себе под нос, одними губами.

И ухожу, потому что единственный раз в жизни не доверяю собственным рукам.

Глава 7

Лев

Утро после первой ночи в доме я встречаю в кабинете, с третьей чашкой кофе и ощущением, что не спал вообще, хотя на самом деле часа три всё же провалялся на диване, глядя в потолок и слушая, как в доме скрипят перекрытия. Я знаю каждый звук этого дома. Знаю, как стонут половицы в западном крыле, когда ветер заходит с озера, и как щёлкает котёл в подвале. Сегодня к этим звукам добавился ещё один, которого раньше не было и которого я, как последний идиот, жду: шаги наверху, лёгкие, босые, от кровати к окну и обратно.

На трёх мониторах передо мной живёт мой периметр. Лес в серой утренней дымке, причал с привязанной лодкой, ворота, возле которых курит Серёга и воровато косится на камеру, потому что я запретил ему курить на посту. Я бы наказал его, но сегодня мне лень. Сегодня я вообще на себя не похож, и это раздражает больше, чем любой Серёга.

Четвёртый монитор я включил за пять минут до того, как зашёл Боцман, и выключить не успел.

Он, конечно, всё видит. Тимур замечает всё, за это я ему и плачу. Он ставит на стол папку, бросает беглый взгляд на экран, где в просторной стеклянной пристройке с бассейном рассекает воду тонкая фигура в чёрном купальнике, и очень

старательно делает лицо человека, у которого по жизни нет ни глаз, ни мнения.

— Что по Москве? — спрашиваю я, не отрывая взгляда от своей кружки.

— Хирург поднял людей. — Боцман садится напротив. — Савельева он потерял, это факт, но теперь ищет через всё, что у того есть: родню, любовниц, партнёров, бывших одноклассников. Через пару дней дойдёт до дочери. Квартиру на Патриках вскрыли вчера вечером, аккуратно, как профессионалы. Ничего не взяли, только поставили жучки. Мы их сняли сегодня в шесть.

— Как узнали?

— Соседка снизу видела двоих в форме газовой службы. Газовой службы, Лёв. В доме, где отродясь не было газа.

Я киваю. Профессионально, но без фантазии. Захар любит чистую работу и ненавидит шум, пока не придёт время шуметь самому. Это значит, что пока он действует тихо, у меня есть дни. Не недели, дни.

— Хорошо. Что с флешкой?

— Ничего. Савельев молчит, на связь не выходит. Хирург, по слухам, уже обещает за неё два миллиона. Долларов.

— А за дочь?

Боцман медлит.

— Пока не слышно. Но если слышно будет, мы узнаем первыми, у меня в его окружении есть один человек, который задолжал мне и мечтает рассчитаться.

Я снова киваю. За спиной у Тимура, на четвёртом мониторе, она выходит из воды. Я вижу это краем глаза и ненавижу себя за то, что вижу. Вода стекает по плечам, по спине, по линии позвоночника, ныряет в ямку у поясницы, и она, откинув голову, разминает шею, как делают люди, которые давно и всерьёз занимались спортом.

Тимур сдержанно откашливается.

— Лёв, ты монитор выключишь, или мне выйти?

— Выйди.

— Я пошутил.

— А я нет.

Он встаёт, забирает пустую чашку, возле двери задерживается и, не оборачиваясь, тихо роняет:

— Мне тридцать девять лет, и такого лица у тебя я не видел ни разу. Подумай об этом.

Дверь закрывается. Я остаюсь с четвёртым монитором один на один.

Я должен его выключить, это понятно любому, у кого в голове осталось хоть что-то, кроме паров бензина. Нажать одну кнопку. Дело секунды. Я смотрю на эту кнопку, а потом на экран, и рука не двигается, словно кто-то залил её бетоном.

Это безопасность, придумываю я себе оправдание, и оно звучит так жалко, что стыдно даже перед самим собой. *Я должен знать, где она находится. Я отвечаю за неё. Контроль объекта.*

Объект выходит из бассейна и берёт полотенце. Купальник простой, гладкий, закрытый, ничего такого. Но вода делает его почти прозрачным в тех местах, где ткань липнет к коже, и я вижу контур груди, тёмные точки сосков, плоский живот, резкую линию бедра. Она вытирает волосы, наклонив голову набок, и пока вытирает, не подозревает, что в этот момент у неё есть зритель, и этот зритель вот-вот сломает пальцами подлокотник кресла.

Я не мальчик. За свои тридцать четыре я перепробовал всё, что можно купить за деньги, и многое из того, что за деньги купить нельзя. Я видел женщин красивее, я знаю цену идеальному телу и давно привык к тому, что оно бывает лишь упаковкой. Хочется мне редко, так, чтобы заболеть, не хотелось уже лет десять. Я думал, это умерло навсегда, как отрезанная нога.

А оказывается, всё это время просто не появлялось то, что нужно.

Бесит в ней именно то, чем она меня зацепила: не тело, к чёрту тело, а ощущение, что она ни секунды не сомневается в своём праве занимать место. Она вчера швырнула мне ключи, потому что не видит во мне опасности. Не боится. Не умеет бояться, её этому не научили. И моё естество, взращённое тремя десятками лет в мире, где страх это валюта, отзывается на это как на вызов. Хочется показать ей, что бывает, когда у охотника отбирают привычку быть охотником. Хочется, чтобы она задрожала. Но тут же, одновременно, в

самой глубине, шевелится другое, совсем нежданное: хочется, чтобы она никогда этого не узнала.

Какой же это пиздец. Одно желание рвёт другое на куски.

Она садится на шезлонг, закидывает ногу на ногу, берёт с низкого столика книгу, мелькает название: итальянская, судя по обложке. Читает, шевеля губами, и меня накрывает такая нелепая, острая нежность, что я физически хочу пробить стену кулаком. Не к телу, к губам, которые шепчут чужие слова.

Я хватаю пачку, вытряхиваю сигарету, прикуриваю и только после первой затяжки понимаю, что курю в кабинете, где у меня запрет на курение с тех пор, как я его обставил. Бью зажигалкой по столу.

Глава 8

— Хватит, — говорю я вслух, жёстко, как говорил бы с подчинённым. — Всё. Выключай.

И выключаю.

Монитор гаснет, чернеет, показывает мне моё собственное лицо: небритое, тяжёлое, с кругами под глазами. Я смотрю на него секунд десять. Незнакомый мужик, уставший и злой, который сидит в собственном кабинете и ведёт себя как подросток, застуканный за подглядыванием в женской раздевалке.

Первое правило безопасности: опасность надо признавать в лицо. Я признаю. Девчонка не угроза для моей жизни, но угроза для моего *порядка*, а для таких, как я, это почти одно и то же.

Договор с самим собой заключаю прямо там, не вставая. Без свидетелей, без подписей, как заключают самые страшные договоры.

Смотреть можно, если нужно для работы. Хотеть можно, это не подвластно приказам. Но руки держать при себе. Всегда. Что бы ни случилось, что бы она ни сказала, как бы ни посмотрела. Ни одного прикосновения, кроме необходимого для защиты.

Звучит разумно. Строго. По-мужски.

Через полторы минуты я включаю монитор снова.

Она уже в доме, и камеры в коридорах показывают, как она идёт к лестнице в халате, который ей великоват: белый, махровый, из тех, что Нина Павловна выдаёт редким гостям. Волосы мокрые, лежат тяжёлым тёмным пластом на плечах, и шагает она босиком, оставляя на паркете влажные следы.

Я смотрю, как она останавливается у двери в мой кабинет. Просто идёт мимо и вдруг замирает, словно что-то почувствовала. Поворачивает голову. Смотрит прямо в объектив камеры, которую я установил над притолокой, в крохотный чёрный глазок размером с пуговицу.

Мне кажется, моё сердце делает кульбит. Сколько раз на меня наводили стволы, а такого не было.

Она не может знать. Камера скрытая, я сам выбирал модель. И всё же секунды три она смотрит прямо в линзу, чуть прищурившись, с тем самым выражением, с которым вчера разглядывала меня в машине. Потом пожимает плечами, будто отгоняет глупую мысль, и идёт дальше.

Я откидываюсь на спинку и выдыхаю.

— Вот любопытная, — говорю я мониторам. Получается нежнее, чем надо.

День идёт обычным порядком, как идёт он в доме, где живёт человек с большими деньгами и большими врагами. Я отвечаю на звонки, принимаю решения, подписываю бумаги, которые потом уйдут юристам и растворятся в чёрной бух-

галтерии завода. Договариваюсь с покупателем из Эмиратов о переносе сделки. Ругаюсь с начальником цеха из-за простоя линии. Угрожаю, без особого энтузиазма, одному замгубернатора, который забыл, кому обязан креслом.

К обеду я чувствую себя почти нормально. Почти.

Потом звонит Глеб Шаров.

Глеб мой зам по безопасности, и голос у него всегда такой, будто он зачитывает вам сводку погоды: ровный, чуть бархатный, с лёгкой доброжелательностью, за которой ничего не видно. Седеющий, подтянутый, в очках без оправы. Он умеет разговаривать с силовиками на их языке, а с инженерами на своём. Он выручал меня столько раз, что я давно перестал считать.

— Лев Арсеньевич, — говорит он, — я понимаю, что вы в отъезде, но не могу не доложить: мои ребята на заводе заметили, что вы повысили режим охраны вашего загородного дома. Двенадцать человек в смену, это дорого. Если вы ждёте серьёзных проблем, я бы хотел знать, чтобы скоординировать усилия.

Вежливо, ничего лишнего. И всё же внутри что-то коротко и холодно щёлкает, как предохранитель.

Откуда он знает про двенадцать человек?

Эту цифру знаю я, Боцман и начальник смены в доме. Ни в одном заводском отчёте, ни в одном приказе её нет. Я лично запретил любые бумаги по загородному дому.

— Это мои частные заморочки, Глеб, — говорю я лени-

во, будто речь о потерянных запонках. — Дом старый, воры шалят. Ничего серьёзного.

— Разумеется. Я просто хотел предложить помощь. Если нужны люди, мои в вашем распоряжении.

— Спасибо. Если понадобятся, скажу.

— Всегда к вашим услугам. — Пауза, мягкая, аккуратная. — Кстати, Лев Арсеньевич, до меня дошли слухи, что у вас гостья. Девушка. Если это что-то, что может повлиять на безопасность предприятия, я бы…

— Это моя личная жизнь, Глеб, — говорю я ровно, и в голосе моём на секунду проступает то, что обычно остаётся в подвалах. — Слухи — это то, что приходит от людей. А людям, которые приносят мне слухи, я обычно задаю один вопрос: откуда ты знаешь?

В трубке тихо. Ровно две секунды.

— Простите, Лев Арсеньевич. Не хотел вмешиваться.

— Знаю, что не хотел. Работай.

Я отключаюсь и ещё некоторое время смотрю на телефон, как на гадюку, которую только что обнаружил в ящике стола.

Откуда он знает?

Нужно сказать Боцману. Нужно поднять всё: логи, доступы, переговоры. Только вместо этого я снова слышу в голове голос Тимура: «Совпадение, скорее всего». И моё собственное «скорее всего».

Надо было нажать тогда. Я человек, который много лет не сомневался, что умеет читать людей, как книги. Но Глеб

был со мной семь лет. Я не хочу его подозревать. Не потому, что он мне друг, у меня нет друзей, а потому что, если он предатель, значит, я слепой. А слепой босс долго не живёт.

Я откладываю телефон. Звоню Боцману коротко, одной фразой: «Проверь, кто в охране завода знает цифру "двенадцать"». Он только хмыкает. Он всё понял.

К вечеру я уже почти уверен, что справляюсь.

Завожу в голове рабочий порядок, как заводят механизм: утро, развод постов, обед, звонки, ужин, обход периметра. Ариана за весь день не вышла из своей комнаты, отказалась от обеда, и когда Нина Павловна приносит мне отчёт, я слышу в нём даже не слова, а тревогу, спрятанную между строк.

— Не ест?

— Только чай. И яблоко.

— Что делает?

— Сидит у окна. Читает. И… — Нина Павловна мнётся, — сказала, что устала от запаха табака в доме. Мол, пахнет даже на её этаже.

Я смотрю на сигарету в пальцах. Курить в кабинете запрещено. Правило, которое я сам придумал и сам нарушаю.

— Передайте, что я учту.

— Вы собираетесь бросить курить? — осторожно уточняет Нина Павловна.

— Я собираюсь курить на улице.

Она улыбается, быстро, одним уголком рта, и тут же прячет улыбку. Я делаю вид, что не заметил.

После ужина, который я проглатываю не чувствуя вкуса, я иду обходить дом. Привычка: каждый вечер, один, без охраны. Проверить окна, двери, посты. Потрогать замок. Услышать дом.

Коридор второго этажа тих. Желтая полоска под её дверью светит ровно. Я не останавливаюсь, но шаг мой замедляется сам собой. Метр, два, три. Ещё пара шагов, и она останется за спиной.

И в этот момент дверь открывается.

Она выходит в коридор в тонкой майке и шортах, с чашкой в руке, видимо, за добавкой чая. Волосы собраны в небрежный узел, на шее влажный завиток, на лице ни капли косметики. Она без обуви, без брони, и от этого в ней появляется что-то такое беззащитное, что у меня сжимается горло.

Мы замираем.

Метра полтора между нами. Не больше. Я чувствую запах её кожи: чистый, тёплый, чуть сладкий, с горьковатым следом жасмина.

— Вы что здесь делаете? — спрашивает она.

— Обход.

— В моём коридоре?

— Во всём доме.

Она прищуривается.

— Ночью?

— Ночью самое интересное.

Она склоняет голову набок, и я вижу, как на шее у неё пульсирует жилка. Быстро. Слишком быстро для человека, который просто вышел за чаем.

— Знаете, — говорит она медленно, — у меня сегодня весь день такое чувство, что за мной наблюдают.

Время останавливается.

Я чувствую, как по позвоночнику идёт холодок. Лицо у меня каменное, оно годами отрабатывало это выражение. Но внутри всё сжимается, потому что она попала. Не зная, не целясь, как попадает слепой в единственную мишень на стрельбище.

— Камеры, — говорю я спокойно. — Периметр в основном. Внутри только в холле и на лестнице. Не волнуйтесь, ваша комната под наблюдением не находится.

— Я не о камерах.

— А о чём?

Она смотрит на меня несколько долгих секунд. Прямо, пристально, будто пытается прочитать что-то на моём лице. Я стою и держу взгляд, и это самое трудное, что я делал за последний месяц, а ведь за месяц я успел сломать двух человек и разрушить один банк.

— Не знаю, — признаётся она наконец и устало улыбается, почти по-детски. — Наверное, я просто накрутила себя. Новое место. Новые люди. Вы, например.

— Я?

— Вы ужасно хмурый. Я весь день гадала, что вы за че-

ловек.

— И что нагадали?

Она пожимает плечом, чашка тихо звякает в её пальцах.

— Что вы, наверное, не такой плохой, каким хотите казаться.

И уходит вниз по лестнице, оставляя за собой запах жасмина и тёплое эхо босых шагов.

Я стою посреди коридора, и мне кажется, что меня ударили под дых. Без предупреждения, без злости, с такой невинной лёгкостью, что даже защититься не успел.

Не такой плохой.

Господи. Если бы она только знала.

Я иду в кабинет. Закрываю дверь на ключ, чего не делал никогда. Сажусь в кресло, смотрю на чёрный экран четвёртого монитора, на свои руки, лежащие на столе, широкие, жёсткие, со шрамами на костяшках. Руки, которые сегодня днём подписали приказ, после которого один человек потеряет всё. Руки, которые когда-то держали то, о чём лучше не вспоминать.

Эти руки не должны её касаться. Никогда.

Я включаю монитор. Лестница, холл, коридор. Она на кухне, стоит у окна с чашкой, смотрит на тёмное озеро. Я смотрю на неё. Часы показывают десять сорок.

Тридцать минут, говорю я себе. Только пока допьёт чай.

И снова вру.

Глава 9

Ариана

На третий день я поняла, что тишина бывает громкой.

В Москве тишины не было никогда. Под окнами шуршали машины, у соседей сверху лаяла собака, в телефоне каждую минуту что-то вспыхивало: Лерка присылала голосовые на семь минут, из бюро переводов приходили файлы, папа писал своё вечное «Ты поела?». Я жаловалась, что от этого шума у меня болит голова. Теперь шум кончился, и я бы отдала свой красный диплом за одно Леркино голосовое, даже самое бестолковое.

Здесь только сосны, озеро и тишина. И он.

Его почти не видно. Он не ходит за мной следом, не стоит под дверью, не заговаривает первым. Но он здесь всё время, как бывает здесь погода. Я выхожу на террасу и знаю, что он где-то рядом, хотя не слышу ни шагов, ни голоса. Пахнет табаком, хоть Нина Павловна и уверяет, что курит он теперь только на улице. Иногда я вижу его со второго этажа: он идёт вдоль кромки леса, широкий и тёмный, засунув руки в карманы, и ни разу не поднимает голову к моему окну. Ни разу. Я бы заметила.

Почему мне так важно, что он не смотрит, я тогда себе не объясняла. Злилась, и всё.

Папа не звонил. Лев сказал, что звонок будет «когда будет

безопасная линия». Я спросила, когда это. Он ответил: «Когда будет». Я спросила, жив ли мой отец. Он посмотрел на меня секунду дольше обычного и сказал: «Жив». И ушёл.

Я поверила, потому что больше верить было некому. От этого стало только хуже.

Катя появилась у меня на третий вечер, принесла полотенца. Ей девятнадцать, у неё веснушки и обкусанные ногти, и смотрит она на меня так, как я в её возрасте смотрела на девушек из журналов. Я сидела на подоконнике и уже минут двадцать не переворачивала страницу.

— Вам грустно, да? — спросила она шёпотом, будто грустить здесь запрещено.

И я сломалась. Всего на минуту, но этого хватило.

Я рассказала ей, что у меня забрали телефон и паспорт. Что я не знаю, где мой отец. Что я уже три дня не говорила ни с кем, кто знал бы меня раньше. Что в четверг у меня должен был быть форум, к которому я готовилась месяц, а меня там даже не хватятся, потому что синхронистов заменяют за час. Что я просто хочу посидеть среди людей. Среди обычных, шумных, незнакомых людей, которые смеются слишком громко и ничего от меня не хотят.

Катя слушала, кусая ноготь. Потом достала из кармана фартука свой телефон, дешёвый, в розовом чехле с котом, и положила его на подоконник рядом со мной.

— Вечером Серёга на воротах, — сказала она. — Он за пять тысяч мать родную пропустит. И калитка для персонала

у нас на одном датчике, я знаю, где он выключается.

Я смотрела на розовый чехол и думала, что это безумие. Что взрослая женщина не должна сбегать из дома через калитку, как школьница с дискотеки. Что папа просил меня слушаться.

Пожалуйста. Пожалуйста.

А потом подумала о Льве. О том, как он протянул ладонь за моим телефоном. Как он ни разу не сказал мне «вы». Как он решает за меня, где мне спать, что носить и с кем говорить, будто я не человек, а дорогая посылка, которую надо довезти, не помяв.

— Во сколько? — спросила я.

Лев

Горничная Катя продержалась ровно два дня.

Я узнаю об этом в десять вечера, когда на мониторе у ворот вдруг гаснет красный огонёк: кто-то отключил датчик на калитке для персонала. Всего на сорок секунд, но этого хватает, чтобы маленькая фигурка в тёмном пальто проскользнула мимо поста и растворилась между соснами. Серёга на воротах в это время сосредоточенно разглядывает свои ботинки.

Я смотрю на запись, прокручиваю назад, смотрю ещё раз. Потом встаю из кресла очень медленно.

— Тимур.

— Я видел. — Боцман уже в дверях, с рацией в руке. —

Телефон Кати она взяла, вызвала такси к трассе. Машина ждала в двух километрах. Номер пробиваю.

— Не надо. Куда поехала?

— Судя по навигатору, в Екатеринбург. Скорее всего, центр.

— Серёгу ко мне. Катю уволить. И Тимур…

— Да?

— Если я вернусь без неё, можешь начинать копать мне яму. Я серьёзно.

— Ты вернёшься с ней, Лёв. — Он вздыхает. — Только вот в каком состоянии, это вопрос.

Я не отвечаю. Беру куртку, ключи и пистолет, который ношу под курткой на пояснице.

Сорок минут я ищу её по городу, и это самые длинные сорок минут за последние годы.

Пока машина режет мокрый вечерний асфальт, я не думаю ни о Хирурге, ни о людях в синем «Пассате». Я думаю о том, что Екатеринбург в октябре полон тёмных подворотен, пьяной шпаны и такси, водители которых не задают вопросов, и что у девочки с браслетом за миллионы на запястье нет ни охраны, ни телефона, ни малейшего понятия о том, как выглядит опасность.

Горничная Катя, перед тем как её выставили за ворота, рыдала у Нины Павловны на кухне и выложила всё: девушка просила отвезти её «в какое-нибудь нормальное место, где есть люди и музыка». Нормальное место в нашем городе, ес-

ли по сумме людей, музыки и дороговизны, всего одно: бар в центре, на набережной, где вечерами собирается золотая молодёжь.

Я знаю этот бар. Знаю хозяина.

Паркуюсь у входа в половине одиннадцатого, на «гостевой» бордюр, и никто даже не смотрит в мою сторону. Охранник на входе, здоровый детина в чёрной куртке, делает шаг навстречу, видит моё лицо и очень вовремя вспоминает, что у него срочное дело в другом конце вестибюля.

Внутри темно, гулко, пахнет алкоголем, дорогими духами и потом. Из колонок бьёт что-то электронное, и каждый удар басов отдаётся в груди, как чужой пульс. Я иду сквозь толпу, не вглядываясь, просто веду взглядом по залу, как луч прожектора. Я умею находить людей. Это одно из тех умений, за которые меня боялись ещё до того, как я начал зарабатывать деньги.

Нахожу её в дальнем углу, у барной стойки.

Она сидит на высоком стуле в чёрном платье, которого я у неё не видел и которое она, наверное, купила в Москве в какой-нибудь другой жизни: короткое, открытое на спине, с тонкими бретельками. Волосы распущены. Лицо чуть раскраснелось, глаза блестят. В руке у неё бокал, и по цвету я определяю, что там не вода. Рядом, слишком близко, сидят двое.

Первый, плотный, в светлой рубашке с расстёгнутым воротом, наклонился к её уху и что-то говорит, а второй, по-

выше, с наглой ухмылкой, положил руку на спинку её стула и пальцами почти касается голой кожи на лопатке.

Почти.

В этот момент во мне что-то выключается. Не взрывается и не вспыхивает. Выключается. Шум в зале отходит, как отходит вода перед волной, и остаётся только холодная и абсолютная ясность, которую я знаю очень давно. Так бывает перед работой, когда решение принято и назад хода нет.

Я подхожу к ним со спины.

— Девушка, — говорит плотный и улыбается Ариане, — а давайте я вас домой отвезу? У меня «Порше» на парковке, правда, классная тачка…

— Спасибо, нет, — отвечает она. Голос чуть ленивый, вежливый, но я слышу в нём натяжку. Она устала и немного испугана, просто не умеет в этом признаться. — Меня ждут.

— Кто ждёт? Муж?

— Водитель.

Они оба смеются. Я уже стою у неё за спиной.

— Водитель, — говорю я тихо, — прямо за тобой.

Ариана вздрагивает всем телом. Оборачивается так резко, что бокал плещет ей на пальцы. И в первую секунду на её лице проступает чистое, неприкрытое облегчение. Девчоночье, детское. Я успеваю его увидеть, и оно врезается мне куда-то под рёбра глубже любого ножа.

А потом облегчение сменяется злостью, и она поспешно натягивает свою обычную броню:

— Вы что, следили за мной?

— Вставай.

— Я не…

— Ариана. Вставай.

Тихо. Без нажима. Но она замолкает на полуслове и смотрит мне в лицо, и по её глазам я понимаю, что именно она там увидела. Потому что в баре вдруг становится заметно тише, словно кто-то ладонью придавил музыку.

Плотный, тот, что с «Порше», поднимается с места. Ему лет тридцать, он выпил и уверен в себе, как бывают уверены люди, которым ни разу не пришлось доказывать это на практике.

— Эй, братан, ты чего? Девушка сама решает, с кем ей…

— Выйдем, — говорю я ему. Спокойно, почти дружелюбно. — Поговорим. Ты и твой друг. Без дамы.

— Лев… — Ариана хватает меня за рукав. Пальцы у неё холодные, влажные, дрожат. — Лев, не надо. Пожалуйста.

Глава 10

Пожалуйста.

Я смотрю на её руку, потом на лицо. Первый раз она сказала мне это слово. Не мне, водителю, а мне, мужчине, который стоит перед ней и держит себя за горло, чтобы не вывернуть двум идиотам руки прямо здесь, при свете.

— Подожди у стойки, — говорю я. — Две минуты. Сиди, не вставай. Паша, — это бармену, который стоит ни жив ни мёртв, — присмотри за ней.

Паша кивает так часто, что можно подумать, у него припадок.

Двор за баром тёмный, сырой, заставлен ящиками и мусорными баками. Узкий, как кишка, с одним фонарём над чёрным ходом. Идеальное место.

Парни выходят следом, один за другим, нервно посмеиваясь. Тот, что повыше, вытаскивает из кармана сигарету и пытается закурить, но пальцы не слушаются, зажигалка щёлкает впустую.

— Ну и чё? — начинает плотный. — Ты кто такой вообще, а? Телохранитель? Так ты свою работу…

Я бью его один раз.

Не в лицо, это глупо и неэффективно. В солнечное сплетение, коротко, с разворотом корпуса, так, как учили в таких местах, о которых не пишут в анкетах. Он складывается

пополам, как мокрая бумага, и с хрипом оседает на колени. Воздух ему не нужен ещё секунд двадцать, пока диафрагма не вспомнит, как работать.

Второй пятится.

— Слушай, мужик, мы же просто разговаривали…

— Я слышал, — говорю я. — Ты положил руку ей на спину.

— Я не…

— Правую? Или левую?

Он тупо смотрит на меня. До него доходит не сразу. Потом, сообразив, прижимает правую руку к груди, как ребёнок, которого поймали на краже варенья.

Я аккуратно беру её за запястье.

— Знаешь, что самое смешное? — говорю я и сам слышу, как звучит мой голос: тихо, ровно, с той почти хрипотцой, которую в Екатеринбурге узнают сорок человек, и все они потом долго не спят. — Ты ведь даже не понял, на что ты полез. Не на девочку. На то, кто за ней.

Хруст сухой и короткий. Два пальца. Мизинец и безымянный.

Парень открывает рот для крика, но я успеваю опередить: ладонь на горло, не сжимая, только давая понять, что могу.

— Тихо, — говорю я. — Дыши. Это ерунда. Срастётся за шесть недель. Хирург хороший нужен, я тебе дам телефон. Скажешь, что упал с лестницы. И знаешь, что ещё скажешь?

Он мотает головой, губы трясутся.

— Что никого сегодня не видел. И девушку не видел. И меня не видел. Потому что, если я услышу, что ты кому-то что-то рассказал, я приду ещё раз. И пальцы на этот раз будут не твои. Понял?

Кивок.

Я отпускаю. Достаю из кармана пачку денег, не считая, швыряю на землю между ними.

— На хирурга. Адрес у Паши.

Они поднимаются, подбирая деньги дрожащими руками, и растворяются в темноте двора, как будто их тут никогда не было. Второй всё ещё придерживает искалеченную руку, плотный держится за живот и волочит ноги.

Я остаюсь один. Стою минуту, слушаю капающую воду. Руки у меня горят.

Я достаю сигарету. Прикуриваю. Затягиваюсь так глубоко, что в лёгких на секунду становится больно.

— Четыре дня, — говорю я пустоте. — Четыре дня, блядь, и я ломаю людям руки из-за девочки, которая даже не знает моего настоящего имени.

Когда я возвращаюсь в зал, Ариана сидит на том же месте, но без бокала. Она смотрит на дверь, и, когда я появляюсь, на мгновение её плечи опускаются, словно с них сняли тяжёлый рюкзак.

Мгновение. Потом они снова расправляются.

— Где они? — спрашивает она.

— Ушли.

— Вы что-то сделали?

— Поговорили.

— Лев, не лгите мне.

— Я не лгу. — Я смотрю на неё сверху вниз, спокойно, без выражения. — Ты ничего не видела. Идём.

Она не двигается.

— Я не пойду.

— Пойдёшь.

— Я не вернусь в этот дом, — говорит она, и подбородок у неё дрожит. — Я не вещь. Я вам не обязана. Вы не имеете права запирать меня, как собаку, забирать телефон, паспорт, решать, с кем мне говорить и куда ходить. Я хотела просто выпить бокал вина. Одна. Как нормальный человек. Это что, преступление?

Бармен Паша с интересом рассматривает свою стойку. Три девушки у соседнего столика замолкают и смотрят на нас с таким откровенным азартом, словно им показывают сериал.

Я не люблю зрителей.

Поэтому просто наклоняюсь, обхватываю её за бёдра и закидываю на плечо.

Она визжит. Вернее, пытается: сначала выходит хриплый, ошарашенный выдох, потом уже писк. Кулаки колотят по моей спине. Тонкие, острые, злые. Каблук с одной туфли сваливается на пол, ловко его подхватываю, будто так и надо.

— Отпусти! Отпусти меня немедленно! Ты не имеешь

права!

— Паша, счёт на меня запиши. Заведению извиняюсь за беспокойство.

— Лев Арсен… — Я одариваю его злым взглядом. Паша осекается. — Всё хорошо. Приходите ещё.

Я иду к выходу через весь зал, и люди расступаются перед нами, как перед ледоколом. Её волосы свешиваются у меня по спине, пальцы отчаянно цепляются за куртку, и всё её тело, тёплое, напряжённое, живое, трётся о моё плечо при каждом шаге. Запах жасмина и вина бьёт в нос. Бедро под моей ладонью гладкое, горячее, и я сжимаю его чуть сильнее, чем нужно для того, чтобы просто держать.

Через триста метров мне придётся об этом пожалеть. Но сейчас она там, где должна быть, и я никому её не отдам.

Дождь начинается, когда я выхожу на улицу. Он льёт сразу, густой, холодный, косой. Пока я донёс её до машины, мы оба промокли. Я открываю дверь, ставлю её на ноги, и она, не успев даже вздохнуть, разворачивается и бьёт меня ладонью в грудь.

— Урод!

— Садись.

— Ты… ты… — у неё не хватает слов. Моя маленькая переводчица, у которой в голове сто тысяч слов на двух языках, впервые в жизни не может подобрать ни одного. — Ты уволен!

Глава 11

— Нет.

— Я требую, чтобы ты…

— Садись, Ариана.

Она садится. Дверь захлопывается с такой силой, что дрожит стекло. Я обхожу машину, сажусь за руль и несколько секунд просто сижу, положив руки на баранку.

Дождь стучит по крыше. Дворники скребут по стеклу. В салоне пахнет мокрой тканью и ею. Она сидит рядом, мокрая насквозь, платье прилипло к телу, волосы струйками текут по плечам. Тушь размазалась. Губы дрожат, а лицо яростное, прекрасное и до одури беззащитное.

— Я ненавижу тебя, — говорит она.

— Знаю.

— Ты хам. Ты мужлан. Ты самый ужасный человек, которого я встречала. Отец тебя нанял, он, видимо, просто с ума сошёл, ты не имеешь права…

— Всё сказала?

— Нет! — Она поворачивается ко мне. — Ты уволен! Слышишь? Уволен! Завтра же позвоню отцу и…

— Уволить меня может только твой отец. — Я говорю это тихо и очень спокойно, глядя прямо перед собой, потому что, если посмотрю на неё сейчас, мне конец. — А до тех пор, принцесса, ты будешь делать то, что я сказал. Или я те-

бя, блядь, к кровати привяжу.

Тишина.

Слова повисают в салоне, и я слышу их заново. Всё, что в них вложено. Всё, что в них слышится.

Я не хотел. Клянусь, не хотел. Это сорвалось, как срывается пуля, которую не успеваешь остановить. А теперь она висит между нами, и обратно её уже не втянуть.

Ариана молчит. Дождь шумит. Секунд пять, десять.

Потом очень медленно я поворачиваю голову.

Она смотрит на меня. И в её лице нет ни ярости, ни возмущения. Только растерянность, и под растерянностью что-то другое, горячее, такое, чего она сама пугается. Губы чуть приоткрыты. Грудь поднимается быстро, неглубоко. Мокрая прядь липнет к щеке, и вдоль неё стекает капля.

Я протягиваю руку.

Не надо.

Беру её за подбородок. Большим пальцем провожу по нижней губе, по тому месту, где дрожит влага. Кожа мягкая, горячая, она едва заметно вздрагивает.

Руки при себе. Всегда. Что бы ни случилось.

Прошло четыре дня.

— Лев, — шепчет она. Не «вы». Не «водитель». Просто имя.

Меня пронзает до самых костей. Я сжимаю челюсть так, что скрипят зубы. Её пульс бьётся под моим пальцем, быстрый и горячий. Расстояние между нами сантиметров два-

дцать. Я мог бы преодолеть его одним движением. Мне даже не нужно решать: тело всё сделает само.

Я убираю руку.

Медленно. Каждый палец отпускает её по очереди, будто разжимая тиски.

— Пристегнись, — говорю я хрипло и отворачиваюсь.

Заводится мотор. Дворники скребут по стеклу. Я выруливаю на дорогу и ни разу за сорок минут не смотрю в её сторону, потому что точно знаю: стоит мне взглянуть, и я сверну на обочину, лесную, тёмную, пустую, и сделаю то, из-за чего перестану быть человеком, которому Витя доверил дочь.

Она сидит рядом тихо. Только однажды, когда мы въезжаем в сосновый лес, она шепчет, глядя в мокрое окно:

— Ты ведь не просто охранник.

У меня внутри обрывается что-то тяжёлое.

— Что? — спрашиваю я как можно равнодушнее.

— Ничего. — Она прижимается лбом к стеклу. — Так, глупость. Забудь.

Я забуду. Я очень постараюсь.

Только кожа на подушечке большого пальца всё ещё помнит её губу и будет помнить до рассвета.

Глава 12

Ариана

Утром я решаю, что войны выигрывают те, кто первым перестаёт плакать.

Решение я принимаю в половине восьмого. Лежу поперёк кровати, смотрю в потолок, а на тумбочке ещё горит ночник, хотя за окном давно рассвело. Глаза опухли, во рту привкус вчерашнего вина, на душе тоже. Где-то внизу хлопает дверь, по гравию у крыльца хрустят тяжёлые шаги. Я знаю, чьи. Я, кажется, уже узнаю его по шагам, и это первое, что мне в себе сегодня не нравится.

Второе — то, что я помню его палец на своей губе.

Помню так, будто это было пять минут назад. Стоит закрыть глаза, и снова темнота машины, стук дождя, его лицо так близко, что я вижу на скуле белую ниточку старого шрама. И то, как он убрал руку. Медленно, по одному пальцу, словно отрывал от себя что-то.

Я сажусь в кровати и говорю вслух, чтобы стены тоже слышали:

— Хватит.

Он охранник, я охраняемый объект, сам сказал. Хорошо. Пусть охраняет.

Я буду невыносимой. Это я умею. Папа говорит, что в этом у меня талант от мамы.

От мысли о папе в горле снова встаёт ком, и я запиваю его водой из графина. Пью долго, стакан за стаканом, пока ком не проваливается обратно, туда, где ему и место.

Внизу пахнет кофе и свежим хлебом. Нина Павловна хлопочет у плиты и при виде меня улыбается осторожно, как улыбаются больным.

— Доброе утро, Ариана Викторовна. Кофе? Овсяное молоко есть, я вчера…

— Где Катя? — перебиваю я.

Она замирает с туркой в руке. Совсем чуть-чуть, на полсекунды, но я вижу.

— Катя у нас больше не работает.

— Из-за меня?

— Из-за того, что открыла калитку, — мягко поправляет Нина Павловна. — Это было её решение.

— Это было моё решение. — Я сжимаю спинку стула. — Она просто хотела помочь. Ей девятнадцать лет. Верните её.

— Это не мне решать.

— А кому? Ему?

Нина Павловна молчит и наливает кофе. Ставит передо мной чашку, белую, тонкую, с золотым ободком, и пододвигает молочник. Её руки, сухие и в старческих пятнышках, двигаются спокойно, но в глаза мне она не смотрит.

— Кушайте, пока горячее, — говорит она.

Я не кушаю. Сижу и смотрю, как остывает кофе, и думаю

о розовом чехле с котом. О том, что Катя, наверное, сейчас едет домой в электричке и плачет. Она дала мне свой телефон, потому что мне было грустно, а я даже не позвонила по нему Лерке. Я просто сидела в баре и пила вино, и из-за этого бокала девочка с обкусанными ногтями осталась без работы.

От вины мне хочется спрятаться. От злости хочется кого-нибудь ударить. Злость побеждает, потому что с ней проще.

Я знаю, кого я буду бить.

К одиннадцати у меня готов план. Он детский, я это понимаю, но других у меня нет. Нет телефона, нет паспорта, нет денег, нет папы. Есть только я сама, двадцать три года, хорошая фигура и купальник, который Лерка в прошлом июне назвала «уголовно наказуемым».

Купальник лежит на дне сумки. Я брала его на море, которого так и не случилось. Это три треугольника тёмно-изумрудной ткани и несколько тонких завязок, больше ничего. Я надеваю его перед зеркалом и минуту стою, разглядывая себя. Щёки краснеют сами.

Он охранник, говорю я отражению. *Ему положено на тебя смотреть, это его работа. Вот пусть и работает.*

Бассейн в этом доме стеклянный: длинная пристройка к западному крылу, стены и потолок из стекла, за которым сосны и бледное октябрьское небо. Днём сюда падает солнце, холодное, но яркое, и под стеклом от него тепло, как в оран-

жерее. Вода пахнет чем-то чистым. Шезлонги из тёмного дерева, на столике свежие полотенца, которые кто-то сменил с утра. В этом доме всё меняют до того, как я успеваю заметить, что что-то испачкалось.

Я ложусь на шезлонг, в самое солнечное пятно, вытягиваю ноги и закрываю глаза.

Жду.

Он приходит через восемнадцать минут. Я считаю, потому что больше считать нечего.

Шагов я не слышу, просто вдруг понимаю, что в пристройке есть кто-то ещё. Воздух меняется, становится плотнее. Так бывает, когда в комнату заходит человек, которого чувствуешь затылком раньше, чем видишь. Я лежу, не открывая глаз, и сердце начинает колотиться так громко, что я боюсь, как бы он не услышал.

— Ариана Викторовна.

Голос ровный, низкий, без всякого выражения.

Я открываю глаза медленно и лениво, как кошка. Он стоит у входа, у самой двери, метрах в десяти от меня. В тёмной футболке и брюках, руки в карманах. Смотрит не на меня, а куда-то поверх моей головы, на сосны за стеклом.

— Да? — тяну я.

— Нина Павловна спрашивает, что вы будете на обед.

Он сам пришёл спросить про обед. Не Нина Павловна, не горничная. Он.

Маленькая и злая радость поднимается у меня в груди,

тёплая, как первый глоток вина.

— Устриц, — говорю я.

Пауза.

— Устриц, — повторяет он.

— Да. Свежих. Не замороженных, свежих, их можно отличить. И бутылку шабли, лучше премьер крю. И ещё… — я делаю вид, что задумалась, и закидываю руки за голову, отчего купальник натягивается на груди. — Знаете, мне ужасно хочется черешни.

— Октябрь на дворе.

— Я знаю, какой сейчас месяц.

— Черешни в октябре нет.

— В Москве есть. В «Азбуке вкуса» круглый год. Наверное, и здесь где-нибудь найдётся, если поискать. — Я улыбаюсь ему самой сладкой улыбкой, на какую способна. — Вы же найдёте, Лев? Это ведь ваша работа, обеспечивать мою безопасность. А я в опасности, мне без черешни станет плохо.

Его взгляд медленно опускается с сосен на меня.

Я этого и хотела. Ради этого я надела три изумрудных треугольника, ради этого легла в солнечное пятно и закинула руки за голову. Но когда он на самом деле смотрит, я понимаю, что не была к этому готова. Совсем не была.

Он не разглядывает меня, как разглядывали те двое в баре, скользким, липким взглядом. Он просто смотрит, долго и тяжело, будто положил на меня ладонь. Сначала лицо.

Потом шея. Потом ниже, и я чувствую этот взгляд на коже, как прикосновение, как тепло от лампы, которое движется по телу медленно-медленно. Плечи. Грудь. Живот. Завязка на бедре, которая держится на честном слове.

У меня пересыхает во рту. Пальцы под затылком сжимаются в кулаки.

Это длится, наверное, секунды три, не больше. Потом он снова смотрит мне в лицо, и в его глазах нет ничего. Ни интереса, ни смущения, ни злости. Серое зимнее озеро.

— Обгоришь, — говорит он.

— Что?

— Под стеклом обгоришь. Здесь солнце обманчивое. Кожа у тебя белая, через полчаса будешь красная, как рак. Как раз под устриц.

И уходит.

Просто разворачивается и уходит, а я остаюсь лежать на шезлонге с закинутыми руками, в купальнике, который Лерка назвала уголовно наказуемым, и чувствую себя полной дурой. Голой дурой на солнцепёке.

Я хватаю полотенце и закрываюсь им до подбородка.

— Серьёзно? Обгорю в октябре? Грубиян, — шиплю я ему вслед. — Хам. Деревенщина.

Мне увы никто не отвечает.

Устрицы появляются в половине шестого.

Я не верю своим глазам. Сижу в столовой, а Нина Павловна ставит передо мной блюдо с колотым льдом, и на льду ле-

жат две дюжины устриц, раскрытых, блестящих, пахнущих морем так сильно, что на секунду мне кажется, будто я в Ницце. Рядом половинки лимона, соус с шалотом и бутылка шабли в ведёрке, премьер крю, я проверяю этикетку.

— Откуда? — спрашиваю я.

— Привезли, — коротко отвечает Нина Павловна.

— Откуда привезли? Здесь же лес.

— Из города. Лев ездил.

Я смотрю на устриц. Город далеко, я помню дорогу. Туда и обратно часа два, не меньше, и надо ещё найти, где в Екатеринбурге продают свежие устрицы. Я была уверена, что он не найдёт. Я на это рассчитывала. Я хотела, чтобы он вернулся с пустыми руками, злой, униженный, и я могла бы скривить губы и сказать «я так и думала».

А он привёз две дюжины. И шабли.

— А черешня? — спрашиваю я. Тихо, сама не знаю зачем.

Нина Павловна молча ставит рядом со мной маленькую стеклянную вазочку.

В ней черешня. Тёмная, почти чёрная, крупная, с капельками воды на глянцевых боках. Её немного, горсть, может, двадцать ягод. В октябре, посреди уральского леса.

Я беру одну. Она холодная и упругая, и когда я её раскусываю, рот наполняется таким летним, таким июньским вкусом, что у меня вдруг щиплет в носу.

— Где он её нашёл? — шепчу я.

— Не знаю, Ариана Викторовна. Не сказал.

— А сам он где?

— На улице. Курит.

Конечно. Курит на улице, потому что я сказала, что от табака пахнет даже на моём этаже. Делает всё, что я велю. Ну почти.

Я съедаю три устрицы, не чувствуя вкуса. Выпиваю полбокала шабли. Черешню доедаю всю, до последней ягоды, и складываю косточки на блюдце аккуратной горкой. Почему-то мне жалко их выбрасывать.

Война, напоминаю я себе. Ты объявила войну.

Только почему-то кажется, что первый бой я проиграла.

К вечеру я придумываю, как отыграться. Это уже совсем низко, я понимаю. Но мне нужно увидеть хоть что-нибудь на этом каменном лице: растерянность, смущение, злость, что угодно. Хоть одну трещину. Если он смутится, значит, он живой. А мне почему-то отчаянно хочется, чтобы оказался живым.

Я нахожу его в холле. Он стоит у окна и говорит по своему старому кнопочному телефону, низко, отрывисто. Увидев меня, говорит в трубку «перезвоню» и убирает её в карман.

— Лев, — говорю я.

— Да.

— Мне нужно, чтобы вы съездили в аптеку.

— Что-то болит? — Он выпрямляется сразу, весь, будто внутри него щёлкнула пружина, и я на секунду теряюсь от того, как быстро это произошло.

— Нет. Не болит. — Я складываю руки на груди. Смотрю ему прямо в глаза и говорю очень чётко, как говорю в кабине синхрониста, когда нельзя проглотить ни звука: — У меня начинаются месячные. Мне нужны тампоны. Я не взяла из Москвы.

Вот. Я это сказала.

Я жду. Сейчас он покраснеет. Или отведёт глаза. Или пробормочет что-нибудь, как бормочут все мужчины, когда при них заговаривают об этом. Папа, например, в таких случаях начинает очень внимательно изучать потолок, а мой бывший, Костя, однажды покраснел до ушей и полчаса делал вид, что не расслышал.

Глава 13

Лев смотрит на меня так же спокойно, как смотрел на устриц.

— Какие? — спрашивает он.

— Что «какие»?

— Тампоны какие. Марка, размер. Их же разные делают.

Теперь краснею я. Я чувствую, как жар заливает мне шею, щёки, уши, и не могу его остановить.

— Я… — Мне не хватает воздуха. — Какие угодно. Нормальные.

— Нормальные, — повторяет он, и мне кажется, или в уголке его рта что-то дрогнуло? — Ладно. Понял. Нормальные.

Он снимает с вешалки куртку и уходит к двери. Я стою в холле, красная как варёный рак, тот самый, которым он обещал мне стать на солнце, и не могу понять, как это получилось. Как вышло, что я собиралась его смутить, а смутилась сама.

У самой двери он останавливается и, не оборачиваясь, бросает:

— Грелку тоже купить? У тебя бывает, что живот болит?

Голос спокойный, деловой, как будто он спрашивает, заправить ли машину.

— Не надо, — выдавливаю я.

— Ага.

Дверь закрывается. Я опускаюсь на банкетку и закрываю лицо ладонями.

Как он это делает? Как ему удаётся каждый раз оказываться выше? Я бросаю в него камни, а он ловит их одной рукой и возвращает мне аккуратно сложенными.

Он возвращается через полтора часа. Я в это время сижу в библиотеке с книгой, которую не читаю, и делаю вид, что не прислушиваюсь к звуку мотора у ворот.

Он входит без стука. Это правило он, конечно, нарушает, впрочем, здесь не моя комната. Ставит на столик возле моего кресла пакет из аптеки и делает шаг назад.

— Вот.

Я заглядываю в пакет. И не верю.

Три пачки. Три разных вида. Одни маленькие, другие обычные, третьи «супер» с какой-то надписью про ночную защиту. Под ними пачка прокладок, тоже на всякий случай. Обезболивающее, две упаковки разных. И большая плитка горького шоколада, швейцарского, с апельсиновой цедрой. Мой любимый. Я покупаю такой в Москве в одном-единственном магазине на Тверской, и больше его нигде не бывает.

Я поднимаю глаза.

— Это что?

— Не знал, какие нормальные, — говорит он, пожимая плечами. — Взял всё. Фармацевт сказала, что так делают ум-

ные мужья. Я ей не стал объяснять, что я не муж.

— А шоколад?

Он смотрит на меня секунду. Потом отворачивается к окну.

— На кассе лежал.

Он врёт. Я это вижу, я всегда вижу, когда врут. Такой шоколад не лежит на кассах в аптеках. Его надо специально искать. И откуда он знает, что я его люблю?

Наверное, папа сказал, тут же решаю я. Папа дал ему список, что я ем и что люблю, как дают няне перед отпуском. Вот откуда устрицы, вот откуда черешня. Папа обо всём позаботился, а этот просто выполняет инструкцию. Хорошо оплачиваемый персонал.

Мысль должна меня успокоить. Почему-то от неё только больнее.

— Спасибо, — говорю я тихо.

— Пожалуйста, — отвечает он.

Первое «пожалуйста» за всё время. Может он не безнадёжен?

Он стоит у окна, а за окном садится солнце, низкое, медное, и бьёт ему в лицо. Он щурится, поднимает руку, чтобы закрыть глаза, и на запястье у него вспыхивает часовой циферблат. Стальной корпус, тёмно-синий, почти чёрный. Тонкие стрелки, ничего лишнего. Я знаю эти часы. Такие носит дядя Марк, папин партнёр, и однажды за ужином он рассказывал, что ждал их у дилера в Женеве четыре года.

Patek Philippe. Nautilus.

Я смотрю на его запястье, на эти часы, и в голове у меня что-то коротко щёлкает, как щёлкает в наушниках, когда сбивается сигнал.

А потом я вспоминаю его свитер. Тот, растянутый, с рынка. Его старый кнопочный телефон, как у моей бабушки. Его руки в шрамах и мозолях. Машину, на которой он меня возит, немолодую и неприметную. И всё встаёт на место. Мне даже становится немного стыдно за то, что я на секунду подумала… что подумала? Сама не знаю.

Это подделка. Конечно, подделка. На рынках продают что угодно, от сумок до часов, и мужчины вроде него покупают такие, чтобы выглядеть солиднее. Наверное, ему нравится, как они блестят. А может, он купил их, чтобы производить впечатление на клиентов. Охранник с часами за несколько миллионов. Смешно.

Мне становится его почти жалко, и почему-то от этой жалости внутри теплеет.

— Красивые часы, — говорю я.

Он опускает руку, смотрит на запястье так, будто первый раз видит.

— А. Это, — говорит он. — Подарили.

— Кто?

— Один человек. Давно.

— Женщина?

Это вырывается раньше, чем я успеваю прикусить язык.

Я хочу провалиться сквозь пол. Хочу умереть прямо в этом кресле, с пакетом тампонов на коленях.

Он медленно поворачивает голову, и в его глазах впервые за весь день что-то появляется. Тень. Искра. Что-то очень опасное, тёмное, весёлое, от чего у меня мгновенно перехватывает дыхание.

— А тебе-то что, принцесса? — тихо спрашивает он.

— Ничего, — говорю я слишком быстро. — Мне всё равно.

— Ну и хорошо, — говорит он.

И уходит. А я сижу с пылающим лицом и не знаю, кто из нас только что выиграл. Наверное, всё-таки он.

Ночью я долго не могу уснуть.

Ночник горит на тумбочке, тёплый, жёлтый, мой маленький союзник. Шоколад лежит рядом, распечатанный, я съела три дольки. На языке до сих пор горечь какао и апельсин. За окном шумят сосны, а внизу, на террасе, снова курит он. Я слышу щелчок зажигалки и чувствую, как через приоткрытое окно тянется горький дым.

Я могла бы закрыть окно. Я не закрываю.

Я лежу на спине, смотрю в потолок и думаю: почему от него так пахнет? Табак, это понятно. Но под табаком всегда есть ещё что-то, металлическое, маслянистое, чуть сладковатое. Так пахнет в мастерской, где чинят что-то тяжёлое и железное. Сегодня днём, когда он стоял возле моего кресла, я вдохнула этот запах, и у меня на секунду подкосились ко-

лени. Хорошо, что я сидела.

Это неправильно. Он грубый. Он некрасивый, во всяком случае, не красивый в том смысле, в каком красивы мужчины на обложках. У него тяжёлое лицо, сломанный нос и руки как у грузчика. Он говорит «блядь» так же легко, как я говорю «доброе утро». Он мужлан, хам, деревенщина, и носит поддельные часы, чтобы казаться солиднее.

И он поехал за черешней в октябре.

Я закрываю глаза.

Я не хочу об этом думать, но мысли текут сами, как вода, тихо и неостановимо. Его взгляд у бассейна, который лёг на меня, как ладонь. Только теперь в моих мыслях он не уходит. Он идёт ко мне через всю стеклянную пристройку, медленно, не вынимая рук из карманов, и останавливается у шезлонга. Смотрит сверху вниз, долго, а я лежу и не могу пошевелиться. Потом он наклоняется, и его тень закрывает от меня солнце, и становится прохладно, а сразу после этого жарко. Его пальцы касаются завязки на моём бедре, той, что держится на честном слове. Он не развязывает её, просто трогает кончиком пальца, медленно, и смотрит мне в глаза, и тихо, хрипло, этим своим голосом говорит…

Я распахиваю глаза.

Сердце бьётся в горле. Под одеялом жарко, слишком жарко, и где-то внизу живота тяжело и сладко ноет, так ноет, что я сжимаю колени.

— Нет, — шепчу я в потолок. — Нет-нет-нет.

Я переворачиваюсь на бок, утыкаюсь лицом в подушку. Подушка пахнет жасмином, моим шампунем. Это хорошо, это правильно. Не табаком, не металлом, не им.

Он работает на папу, повторяю я, как молитву. *Он работает на папу. Он охранник. Ты его не хочешь. Ты на него злишься. Это разные вещи, Ариана, ты же переводчик, ты должна чувствовать разницу между словами.*

Внизу снова щёлкает зажигалка. Вторая сигарета. Он не уходит.

Я лежу, обхватив подушку, и слушаю. Он стоит там, под моим окном, в холодной октябрьской темноте, и курит. Я не знаю, о чём он думает. Наверное, о работе. О том, что завтра капризная девчонка снова чего-нибудь потребует.

Мне очень хочется, чтобы он думал обо мне.

Я засыпаю под запах его дыма. Последнее, о чём я успеваю подумать, проваливаясь в сон: завтра я надену купальник ещё меньше.

Хотя меньше у меня нет.

Глава 14

Лев

Новость про Колю приходит в четыре часа дня, в будничный серый час. В такое время обычно звонят из бухгалтерии насчёт квартального отчёта, а не из морга.

Я сижу в кабинете над договором с казахами. Пятый раз перечитываю один и тот же пункт о сроках поставки и пятый раз не понимаю ни слова, потому что этажом выше, в библиотеке, Ариана включила музыку. Что-то итальянское, с виолончелью, тихое настолько, что через перекрытия доходит только низкий гул. Мне хватает и гула: я знаю, что она там, свернулась в кресле с книгой, поджав под себя ноги. Вчера вечером я видел её так на мониторе, а сегодня запретил себе смотреть. Держусь уже шесть часов, и это, сука, мой личный рекорд за неделю.

Звонит Боцман. Голос у него такой, что договор с казахами я откладываю ещё до того, как он договаривает первую фразу.

— Лёв. Нашли Николаева.

— Какого Николаева?

— Колю. Водителя Савельева. Двадцать лет он Витю возил. И девчонку в школу, между прочим.

Я молчу. Тимур тоже молчит, ровно столько, сколько нужно, чтобы я сам догадался, каким словом закончится разго-

вор.

— Где?

— Лесополоса под Мытищами, у старой бетонки. Грибники наткнулись утром. Мне человек из областного морга набрал. — Боцман выдыхает. — Работали над ним долго, Лёв. Почерк Хирурга, тут без вариантов. Пальцы, колени, всё как он любит. Сутки, не меньше.

Я встаю, подхожу к окну. Внизу гладкое и холодное, свинцовое озеро. По причалу ходит охранник с рацией на плече, молодой и пустоголовый, тот самый красавчик Денис.

— Что Коля знал?

— В том и вопрос. В ту ночь он вёз Савельева во Внуково, к частному борту. Борт был на Кольцово.

Вот оно. Вот и вся арифметика.

Сутки человек держался, пока ему ломали колени, а потом сказал то единственное, что знал. Не адрес, не моё имя, этого Коля знать не мог. Только город. Город, где Витя Савельев сошёл с самолёта в пятом часу утра.

— Значит, Захар знает про Екатеринбург, — говорю я.

— Знает, что Витя сюда летал. Дальше пусть гадает. Витя мог отсюда куда угодно рвануть, через Челябинск, через Казахстан. Но Хирург не дурак.

— Хирург не дурак, — соглашаюсь я. — Хирург будет искать, к кому Витя мог прилететь на Урал. И кого он у нас тут знает так, чтобы доверить самое дорогое.

— Таких, Лёв, полтора человека.

— Один.

Пауза.

— Периметр усиливаю, — говорит Тимур. — Ещё шесть человек из моих, проверенных. Не с завода.

— Не с завода, — повторяю я, и в памяти всплывает мягкий бархатный голос Глеба: *«Двенадцать человек в смену, Лев Арсеньевич, это дорого»*. — Тимур. Про Колю никто не должен знать. Ни одна живая душа в этом доме.

— Понял.

— Особенно она.

— Я понял, Лёв.

Я нажимаю отбой и долго стою у окна, упершись ладонью в холодное бронированное стекло, которое держит крупный калибр, но ни хрена не держит то, что подступает изнутри.

Колю я видел один раз, лет восемь назад, когда Витя заезжал ко мне на завод. Сухой седой мужик в аккуратной кепке курил у машины и разговаривал со мной про рыбалку на Иртыше так, будто мы с ним сто лет знакомы. Простой, как табуретка, честный. Двадцать лет он возил на заднем сиденье Витины грязные бумаги и ни разу не спросил, что в них. И девочку с бантами возил в школу. Наверняка потом и в институт, и на её первые свидания, и сидел в машине и ждал, пока она нацелуется у подъезда с каким-нибудь сопливым Костей.

Теперь Коля лежит в мытищинском морге без коленных чашечек, а девочка сидит этажом выше, слушает виолончель

и не знает, что дядя Коля больше никогда не возьмёт трубку.

Ну что, Северный. Ты же хотел, чтобы мир для неё ещё немного побыл нормальным. Сколько ты ещё собираешься ей врать?

Столько, сколько понадобится. Я знаю это так же твёрдо, как знаю свой калибр. Если она узнает про Колю, она узнает, что дядю Колю пытали из-за её отца. Тогда она спросит, почему, и мне придётся либо врать дальше, либо рассказать всё. А всё, что я могу рассказать, проламывает её мир до основания, как бетонобойная проламывает перекрытие.

Нет. Пусть пока слушает виолончель.

Я возвращаюсь к договору. Пункт о сроках поставки никуда не делся. Буквы стоят на месте и ничего не значат.

Ужинаю я один, как и вчера.

Она снова ест у себя, Нина Павловна носит ей подносы наверх, и это меня устраивает. После недавней истории с тампонами Ариана держит дистанцию с упорством, которое вызвало бы у меня уважение, если бы не бесило так сильно. Утром мы столкнулись на лестнице, и она прошла мимо, задрав подбородок, будто я пустое место, сквозняк или пятно на обоях. Я ей позволил.

Я учуял на ней шоколад с апельсином. Ела, значит. Ела мой шоколад, тот самый, за которым Серёга по моему приказу гонял через весь город в единственный магазин, где такой бывает. Я узнал о нём из Витиного списка, пункт девятнадцатый, мелким шрифтом.

От этого запаха у меня полдня стояло под рёбрами, будто туда заколотили гвоздь.

После ужина я делаю обход: окна, двери, посты. Шестеро новых уже на месте, люди Тимура, морды каменные, в каждом сто килограммов, ни одного вопроса в глазах. Хорошо. Вот это мои люди, а не пустоголовые красавчики, которые на причале пялятся на окна второго этажа.

К одиннадцати дом засыпает. Нина Павловна уходит к себе, горничные гасят свет в людской, только во флигеле охраны бубнит телевизор. Под Арианиной дверью тёплая жёлтая полоска.

Я иду в спортзал, потому что больше идти мне некуда.

Зал в цокольном этаже, под бассейном. Бетонные стены, резиновое покрытие, железо, станки, в углу тяжёлый мешок, кожаный, набитый так плотно, что о него можно сломать запястье, если бить неправильно. Я его повесил, когда строил дом. Долго выбирал место, чтобы ни один звук не уходил наверх. Пять лет я спускался сюда, когда хотелось кого-нибудь убить, а убивать было нельзя.

Сегодня хочется очень.

Снимаю футболку, бросаю на скамью. Бинты не наматываю, перчатки не беру. Мне нужно, чтобы было больно в правильном месте, в костяшках, а не там, где болит сейчас.

Первый удар выходит пустой, разминочный. Мешок вздрагивает, цепь лязгает о крюк. Второй ложится глубже. На третьем меня наконец отпускает голова, и остаётся только

тело, которое я знаю лучше любого механизма на своём заводе: стопа, колено, бедро, разворот корпуса, плечо, кулак. Цепочка, по которой сила проходит от бетонного пола до сжатых пальцев и уходит в кожу мешка глухим тяжёлым звуком, как будто кто-то лопатой бьёт по мёрзлой земле.

Я бью и думаю про Колю. Про то, как Хирург работает: не спеша, с перерывами на чай. Он разговаривает с человеком тихо и вежливо, называет его по имени-отчеству, а потом спокойно, как часовщик, ломает ему следующий сустав. Я видел его работу. Я знаю, сколько может выдержать обычный мужик, и Коля выдержал больше.

Удар. Удар. Цепь звенит.

Я думаю про Глеба. Про то, что если Глеб сливает, то Хирург уже сейчас знает не только про город. Тогда он знает про этот дом, этот лес, это озеро и ту, что скрыта на втором этаже.

Удар. Мешок отлетает на полметра и бьёт обратно в грудь. Я встречаю его плечом.

И только потом, когда пот уже заливает глаза и под кожей на костяшках начинает гореть, я разрешаю себе подумать про неё. Как она спала бы, если бы знала. Как она смотрела на меня вчера в библиотеке, когда спросила «женщина?», а потом чуть не умерла со стыда. Как кончик её языка мелькнул по губе, когда она поняла, что сказала. Как пахнет её шея, апельсином и шоколадом, в тот момент, когда она проходит мимо на лестнице и делает вид, будто меня нет.

Я бью так, что в левом запястье что-то хрустит, и на секунду мне это нравится.

Ты, блядь, человека из-за неё похоронил, Северный. Не руками, но похоронил. Колю ломали сутки, потому что ты сидишь тут и прячешь Витькину принцессу. И при этом единственное, о чём ты можешь думать, это как пахнет у неё шея. Ты больной ублюдок. Ты всегда им был, просто раньше это было на пользу делу.

Удар.

И тут я чувствую взгляд.

Глава 15

Я его всегда чувствую. Это не мистика, а выучка: десять лет, в течение которых меня хотели убить, учат затылок видеть лучше глаз. Сейчас затылок говорит мне, что в дверях кто-то есть и он смотрит мне в спину давно, не первую минуту.

Охрана сюда не ходит, им запрещено пока я тренируюсь. Нина Павловна спит. Тимур, если ему что-то надо, стучит и говорит голосом.

Остаётся один человек.

Я ловлю мешок ладонью, гашу качание и медленно, не оборачиваясь, опускаю руки.

Я знаю, что она видит. Знаю каждый сантиметр того, что сейчас у неё перед глазами, потому что много лет вижу это в зеркале и ненавижу. От правой лопатки к пояснице, через рёбра, на бок и вниз, под пояс штанов, по спине стекает старый ожог: багровый в середине, с белыми бугристыми краями, натянутый, как плохо пришитая латка. Кожа там похожа на застывший воск, который кто-то пальцами смял, пока он ещё был горячим. Ещё три мелких рубца, от осколков, на левом боку. И длинная тонкая полоса под ключицей, но её отсюда не видно.

Осень четырнадцатого. Склад на Эльмаше. Мне говорили, что там ящики с оборудованием, а там стояла взрывчатка с

таймером, и мой тогдашний партнёр Андрюша Лазарев пожелал мне доброй ночи по телефону за пару минут до того, как она сработала. Я горел на полу, а потом полз через огонь, вытащил ещё двоих. Ни один врач не верил, что я встану. Через восемь месяцев я встал. А через девять Андрюша Лазарев разбился на машине на Серовском тракте, и никто так и не понял, почему у него отказали тормоза.

Я не тороплюсь. Беру со скамьи полотенце, вытираю лицо и шею и только после этого поворачиваюсь.

Она стоит в дверном проёме, придерживаясь за косяк одной рукой. На ней спортивные штаны и широкая серая кофта с длинными рукавами, натянутыми до самых пальцев. Волосы стянуты в узел, на ногах кроссовки. Ясно: тоже не спалось, решила спуститься побегать на дорожке, пока весь дом спит и некому на неё смотреть. А тут я.

И лицо у неё такое, что лучше бы мне его не видеть.

Это не отвращение, хотя я его ждал, и не страх. Страх я бы выдержал, страх я знаю. Она смотрит на мою спину, даже теперь, когда я повернулся к ней грудью, так, будто ей самой больно. Губы приоткрыты, брови сведены, пальцы на косяке побелели. Взгляд медленно ползёт по шраму на боку, по осколочным рубцам, и останавливается на белой полосе под ключицей.

На меня так никто не смотрел, никогда, ни одна баба из тех, кому я платил. Они видели шрамы и делали вид, что не видят, а если и смотрели, то с тем голодным азартом, с ка-

ким смотрят на оружие: страшно и интересно. А эта стоит в дверях, сопливая переводчица в мешковатой кофте, и смотрит на мою изуродованную шкуру, будто это её саму вчера обожгло.

Не смотри на меня так, дура. Я же не железный.

— Тебе чего? — спрашиваю я. Голос выходит грубее, чем надо, хриплый после ударов.

Она вздрагивает, как будто её разбудили.

— Я… я не знала, что тут кто-то есть. Хотела на дорожку.

— Дорожка там, — я киваю в угол.

Она не двигается и не идёт к дорожке. Стоит и смотрит.

— Что это? — тихо спрашивает она.

— Где?

— Не надо. — Она делает шаг внутрь, потом ещё один. Резиновое покрытие глушит её кроссовки. — Вы же поняли. Спина. Бок. Что с вами случилось?

— Пожарником был.

Я говорю это ровно, как стопроцентный факт. Так я говорил «кофе без сахара» официантке в Кольцово.

Она останавливается метрах в двух и чуть-чуть склоняет голову набок, как делает всякий раз, когда переводит в уме и проверяет слово на прочность. Я уже выучил этот жест.

— Нет, — говорит она.

— Что «нет»?

— Вы не были пожарником.

— С чего ты взяла?

— Не знаю. — Она пожимает плечом, и рукав кофты съезжает, открывая тонкое запястье без браслета. Сняла на ночь. — Пожарники… у меня был знакомый, у Лерки брат. Он другой. Он всё время смеётся. А вы будто… — Она снова ищет слово. — Вы будто тушили не огонь.

У меня внутри коротко, холодно и точно щёлкает затвор.

Осторожно. Вот так, на ровном месте, по запаху, по изгибу брови, по какой-то хрени, которую она сама не понимает. Вот так они и ломают легенды, эти умные девочки с красными дипломами.

— Армия, — говорю я. Это правда, а правда — лучшее прикрытие для лжи. — Потом много чего. Потом взрыв на складе. Давно, лет двенадцать назад. Работа такая, Ариана. Нас не за красивые глаза нанимают.

Я вижу, как она это переваривает, кладёт на полку в голове и складывает картинку. Охранник, бывший военный, шрамы от взрыва, очень опасная работа, о которой лучше не спрашивать. Всё сходится. Нормальный человек на этом успокаивается.

Она и успокаивается, я вижу, как отпускает плечи. Только к дорожке всё равно не идёт.

— Вам было больно? — спрашивает она.

Я смотрю на неё и даже не сразу понимаю вопрос. Меня об этом не спрашивали. Врачи спрашивали «где болит», следаки спрашивали «кто это сделал», Тимур спрашивал «кого убрать». А вот «было ли больно» не спрашивал никто.

— Было, — говорю я. Само вырывается.

— Долго?

— Восемь месяцев. Потом привык.

— К такому не привыкают.

— Привыкают ко всему, принцесса.

Теперь между нами меньше метра. Я чувствую запах её кожи, тёплой будто со сна: апельсин, шоколад и под ними что-то её собственное, чистое, от чего у меня мгновенно и тупо тяжелеет внизу живота. Я стою голый по пояс, мокрый, разогретый, с горящими костяшками и сердцем, которое ещё не остыло от мешка, а она стоит в своей мешковатой кофте и смотрит снизу вверх. Глаза у неё в полутьме зала тёмные, почти чёрные, и в них что-то такое, что я не берусь назвать.

Отойди. Отойди, Лев. Скажи ей «дорожка там». Скажи «спокойной ночи». Скажи хоть что-нибудь, придурок, пока ещё можешь.

Я молчу.

Она поднимает руку.

Медленно, будто к дикой собаке, будто сама не до конца понимает, что делает. Рукав снова съезжает, пальцы выныривают из серой ткани, тонкие, бледные, с коротко остриженными ногтями без лака. Они замирают в сантиметре от моего бока, там, где ожог переходит на рёбра, на самый страшный, самый бугристый край.

Я не дышу. Я, мать твою, не дышу, как салага в первом окопе.

И она касается.

Едва-едва, подушечками двух пальцев, так легко, что я должен был бы ничего не почувствовать, потому что кожа там мёртвая и нервы там выгорели двенадцать лет назад, все врачи в один голос так говорили. Только врачи ни хера не знали. Я чувствую. Я чувствую её всем телом, от затылка до пяток, будто она провела пальцами не по шраму, а прямо по оголённому проводу у меня внутри. Ток бьёт в позвоночник, прошивает живот и уходит вниз, тяжело и горячо, так, что я на секунду глохну.

Её пальцы медленно ведут вдоль рубца, вниз, повторяя его неровный край. Осторожно, как по трещине на старой фарфоровой чашке.

— Не надо, — говорю я шёпотом. Голос сел.

Она не слышит. Или слышит, но не останавливается.

И тогда я ломаюсь.

Я перехватываю её руку раньше, чем успеваю подумать: ладонью накрываю её ладонь, сжимаю запястье, и в одно движение, коротко, без рывка, разворачиваю её и вжимаю спиной в бетонную стену. Её руку держу у плеча. Тело само делает то, что умеет лучше всего, — фиксирует, лишает опоры и выбора. Только сейчас оно делает это не так, как с чужими: я подставляю ладонь ей под затылок, прежде чем он коснётся бетона. Сам не знаю, когда успел.

Она коротко выдыхает, почти всхлипывает. Хочу верить, что не от боли, больно я ей не сделал. От неожиданности.

Я нависаю над ней всей тушей. Её запястье бьётся у меня в кулаке, как птица, только сильнее, быстрее, бешено. Моя ладонь у неё на затылке, в мягких волосах, и пальцы сами собой немного зарываются в узел. Её грудь, под серой кофтой, поднимается так часто, что почти касается моей. Между нами пара сантиметров, тонкий слой воздуха, горячего и спёртого, который пахнет моим потом, табаком, её апельсином и железом от станков.

Её лицо совсем близко. Ресницы дрожат. На нижней губе маленькая трещинка, она её, наверное, кусала весь вечер. Я смотрю на эту трещинку и понимаю, что, если наклонюсь ещё на сантиметр, всего на один, я почувствую её вкус. Вкус шоколада и апельсина, вкус губы, которую я трогал пальцем в машине под дождём и которую до сих пор помню подушечкой большого пальца.

Один сантиметр.

Я пятнадцать лет держал на мушке людей и никогда не дёргал спуск раньше времени. Я знаю, как держать палец на крючке, когда каждая жила в теле орёт «давай». Сейчас я держу. Держу так, что у меня сводит челюсть, дрожат мышцы спины, а под натянутой кожей горит каждый старый рубец, как будто его заново облили бензином.

Она не вырывается. Ни разу не дёрнулась. Просто смотрит, приоткрыв рот, и дышит мне в подбородок горячо и неровно. Свободной рукой она вцепилась в собственный рукав, будто держится за него, чтобы не упасть.

Она не вырывается, Лев. Ты понял, что это значит? Ты, сука, понял?

Понял. Именно поэтому я и не могу.

Если бы она вырывалась, я бы отпустил сразу, без вопросов. Но она стоит у стены и ждёт, и на этом всё: если я сейчас сделаю этот сантиметр, я не остановлюсь ни через минуту, ни через час. Я возьму её прямо здесь, у бетонной стены, на резиновом полу, в моём зале, куда я спускаюсь, когда хочу кого-нибудь убить. Возьму эту девочку, у которой за стеной, в Мытищах, лежит в морге дядя Коля, о котором она ничего не знает. Возьму, пока её отец бежит от Хирурга, доверив её мне, как самое дорогое.

Не трогать то, что не твоё.

Я медленно, очень медленно опускаю голову. Не к губам, а ниже, к её виску. Касаюсь его лбом, просто касаюсь, и на одну секунду закрываю глаза.

Её волосы пахнут жасмином. Пульс в виске бьётся мне в кожу.

— Иди спать, Ариана, — говорю я ей в волосы.

Голос хриплый, будто его ободрали наждаком.

Она не двигается.

— Иди спать, — повторяю я твёрже. — Сейчас.

И отпускаю. Сначала запястье, по одному пальцу, как вчера в машине. Потом вынимаю ладонь у неё из-под затылка, и узел у неё на голове немного съезжает набок. Потом делаю шаг назад, и между нами врывается холодный воздух зала.

Она стоит у стены ещё секунду. Две. Глаза огромные, щёки горят, губы приоткрыты. Растирает запястье, которое я держал, хотя никакого следа на нём нет, я знаю, я был осторожен. Смотрит на меня так, будто хочет что-то сказать и не может найти слово ни на одном из своих языков.

Потом разворачивается и уходит. Не бежит, но идёт так быстро, что кроссовки скрипят по резине, а на лестнице её шаги срываются почти в бег.

Наверху хлопает дверь.

Я стою посреди зала, пока не перестают дрожать руки.

На это уходит долго: минут пять, может, десять. Я не считаю. Потом подхожу к мешку, обхватываю его обеими руками, утыкаюсь в холодную потрескавшуюся кожу лбом и стою так, как стоят на остановке пьяные мужики в три часа ночи.

Бок горит. Там, где она касалась. Мёртвая кожа, выжженные нервы, восемь месяцев в ожоговом центре, и всё это ни хрена не значит, потому что сейчас этот проклятый рубец чувствует больше, чем всё остальное тело. Я провожу по нему ладонью, грубо, почти со злостью, будто хочу стереть след её пальцев. Не стирается.

— Пиздец, — говорю я мешку. — Ну пиздец, Лев Арсеньевич. Приплыли.

Мешок молчит, мешки умеют молчать.

Я поднимаю голову и смотрю на стену у двери, туда, где она только что стояла. На бетоне ничего. Ни следа, ни отпечатка. Только я до сих пор помню вес её затылка в своей

ладони, мягкий и тёплый, как будто держал птенца. Помню трещинку на губе. Сантиметр.

Один сраный сантиметр.

Я натягиваю футболку, поднимаюсь из подвала и выхожу на террасу без куртки, в холод, к озеру, которое лежит под луной чёрное и гладкое, как вороненая сталь. Закуриваю. Руки снова ведут себя прилично, только огонёк зажигалки чуть-чуть пляшет, совсем немного.

Наверху, на втором этаже, тёплая жёлтая полоска ночника.

Я стою и смотрю на неё, и думаю о том, что сегодня утром в Мытищах грибники нашли человека без колен, потому что этот человек двадцать лет возил её в школу. Думаю о том, что Хирург теперь знает слово «Екатеринбург» и уже сейчас перебирает людей, к которым Витя мог прилететь. Думаю о том, что через неделю, может, через две, сюда придут. Придут обязательно, я в таких вещах не ошибаюсь.

И при всём при этом единственное, о чём у меня по-настоящему болит, это сантиметр.

Окно наверху вдруг приоткрывается. Совсем чуть-чуть, на ладонь. Я не вижу её за шторой, только тень.

Я затягиваюсь так глубоко, что в лёгких становится больно, и выдыхаю медленно, вверх, туда, к этой узкой тёмной щели над жёлтым светом.

— Дура, — тихо говорю я в темноту. — Маленькая глупая дура.

И остаюсь на террасе, пока не докуриваю всю пачку.

Глава 16. Цена тишины

Лев

Утром после зала я бреюсь дольше обычного. Стою перед зеркалом в одном полотенце на бёдрах, веду станком по щеке и смотрю в глаза мужику по ту сторону стекла: тяжёлому, невыспавшемуся, с красными прожилками на белках от пачки сигарет, выкуренной на холодной террасе. Мужик смотрит в ответ так, будто хочет спросить, какого хуя я вообще творю. Ответа у меня нет, поэтому я брею его молча и аккуратно, как перед похоронами или перед большими деньгами. Сегодня у меня по плану и то и другое, просто чьи это будут похороны ещё не решено.

На левом боку, у края ожога, кожа на вид обычная, мёртвая и бугристая, как всегда. Я знаю это, потому что смотрю туда уже минуту, и мне хочется врезать самому себе за то, что смотрю. Как будто там должны остаться следы двух тонких пальцев. Как будто на мне вообще что-то может остаться.

Сегодня я еду на завод.

Отложить это нельзя. Через Тимура всю неделю шли звонки, но некоторые вопросы по телефону не решаются: люди, которые покупают у меня то, что официально не производится, хотят видеть мои глаза, а я хочу видеть их руки. Плюс отчёт по третьей линии, плюс губернаторская комиссия на

следующей неделе, плюс Глеб, на которого мне нужно посмотреть вблизи. Голос в трубке врёт легко, а лицо врёт хуже, особенно когда напротив сижу я.

И ещё одна встреча, о которой Тимур сказал мне в шесть утра, разбудив звонком. Её я не планировал, но пропустить её значит показать, что я испугался.

— Люди Захара хотят поговорить, — сказал он. — Сегодня, в четыре. Нейтральная территория, «Плотина», кабинет у Армена. Без стволов.

— Кто едет?

— Гусейн. И с ним кто-то из московских, фамилию не назвали.

Гусейн — правая рука Хирурга по Уралу, человек с голосом продавца ковров и глазами, в которых давно ничего не живёт. Если Захар прислал Гусейна, значит, он не ищет. Значит, уже нашёл. Или думает, что нашёл, и хочет посмотреть, как я буду дышать, когда мне это скажут.

Я ополаскиваю лицо холодной водой и вытираюсь насухо.

Ну что, Северный. Поиграли в водителя, пора на работу.

Она завтракает внизу. Впервые за три дня спустилась сама и сидит на кухне у окна с чашкой кофе и половинкой круассана, который крошит пальцами на тарелку, но не ест. Волосы распущены, тяжёлые и тёмные, ещё влажные после душа, на плечах шерстяной кардиган цвета топлёного молока. Нина Павловна возится у плиты и при моём появлении становится вдвое тише, будто кто-то убавил ей громкость.

Ариана поднимает глаза, видит меня и тут же опускает их снова. Быстро, слишком быстро. На щеках выступает розовое, на шее, у ворота кардигана, тоже. Она сосредоточенно смотрит в чашку, будто там на дне написан текст, который ей надо перевести к обеду.

Вчерашняя стена в зале стоит между нами в этой кухне, как третий человек за столом.

Я наливаю себе кофе, чёрный, без сахара, и встаю у окна, ко всему этому спиной. Так легче.

— Я уезжаю в город, — говорю я стеклу. — До вечера.

За спиной тишина, только тихо звякает о блюдце её ложечка.

— Зачем? — спрашивает она наконец. Голос ровный, нарочито безразличный. Я слышу в нём каждую трещину.

— По поручению твоего отца.

— Он звонил?

Ну вот, сразу в самое больное. Я разворачиваюсь. Она смотрит на меня теперь в упор, и розовое на щеках никуда не делось, но в глазах уже не стыд, а голод: дикий, неприкрытый. *Папа звонил?*

— Не мне, — говорю я. — Через людей. Ему нужно, чтобы кое-что забрали и кое-что передали. Бумаги. Скучная история.

— А мне он ничего не передал?

Секунда. Я думаю о Коле в мытищинском морге. О том, что Витя сейчас сидит где-то под Гагрой, жрёт хачапури и

молится, чтобы флешка в его тайнике пережила Хирурга. О том, что передавать дочери он ничего не стал бы, даже если бы мог: слишком опасно, каждое слово по чужим линиям — это след.

— Передал, — говорю я. — Сказал, что любит. И чтобы ты ела нормально, а не крошила круассаны.

Она смотрит на свою тарелку, на горку крошек, и вдруг улыбается. Коротко, криво, сквозь что-то, что очень похоже на слёзы, которых она мне не покажет ни за какие деньги.

— Это не он сказал, — говорит она. — Это вы сейчас придумали.

— Может.

— Он бы сказал «ты поела?». Он всегда так пишет. Три раза в день.

— Ты поела? — спрашиваю я.

Она поднимает на меня глаза. И в этот раз не отводит их ни через секунду, ни через две. Смотрит, и розовое на её шее медленно расползается ниже, под ворот кардигана, туда, куда я не смотрю, потому что я, блядь, профессионал.

Потом она берёт круассан и откусывает. Демонстративно, глядя мне в лицо и медленно жуя, с таким видом, будто делает мне огромное одолжение.

— Довольны? — спрашивает она с набитым ртом.

— Ага.

Я допиваю кофе одним глотком, обжигаю язык и иду к двери. Уже у порога слышу:

— Лев.

Оборачиваюсь.

Она сидит прямо, ровная, как струна, вцепившись в чашку обеими руками.

— Вчера… — начинает она и замолкает.

Нина Павловна у плиты вдруг вспоминает, что у неё в кладовой срочное дело, и исчезает так быстро, что я едва успеваю заметить край её фартука.

Ариана выдыхает.

— Вчера я не должна была заходить в зал. И трогать… я не должна была. Это было непрофессионально. С моей стороны.

Непрофессионально. Я чуть не ржу в голос, хотя смеяться не хочется. Маленькая переводчица подобрала единственное слово, за которое можно спрятаться, и держит его перед собой, как щит из картона.

— С твоей стороны, — повторяю я.

— Да.

— Ты не на работе, Ариана. Это я на работе.

— Тогда с вашей тоже. — Подбородок у неё упрямо дёргается вверх. — Вы меня к стене прижали.

— Прижал, — соглашаюсь я. — И отпустил.

Мы смотрим друг на друга через всю кухню. Слово «отпустил» висит в воздухе, и мы оба слышим в нём то, что я не стал говорить: *а мог бы не отпускать*. Её губы чуть-чуть раскрываются, и та трещинка на нижней на месте, вчераш-

няя, я вижу её отсюда.

— Ешь, — говорю я и ухожу, пока ещё могу ходить ровно.

Дорога до завода занимает час с небольшим, и весь этот час я не включаю музыку. Мне нужна тишина в голове, как нужна ровная площадка перед стрельбой. Еду я не на серой «Тойоте», а на своём чёрном «Гелике» с бронёй, который в доме прячу в дальнем боксе: на заводе водитель-телохранитель никому не нужен, там нужен Северов. Боцман ведёт машину сопровождения сзади, ещё одна идёт впереди. Обычный кортеж обычного человека, у которого в городе слишком много должников.

Ворота завода открываются за полминуты до того, как я к ним подъезжаю. На проходной два бойца в форме вытягиваются так, будто я министр обороны. Я пропускаю это мимо глаз. На территории пахнет как всегда: мокрым бетоном, соляркой, горячим металлом и оружейной смазкой. Этот запах въелся в меня настолько, что я не чувствую его на себе, только вот она, кажется, чувствует.

Хватит.

Я выхожу из машины, и мир наконец встаёт на привычные места.

Здесь не надо ничего изображать. Здесь меня зовут Лев Арсеньевич, и каждый, кто произносит это имя, делает паузу, будто проверяя, правильно ли выговорил. Начальник третьего цеха, лысый Петрович, который знает меня с тех пор,

как я тут бегал в двадцать два года мальчишкой на побегушках у старого хозяина, встречает меня у административного корпуса и докладывает о простое линии так, будто это его личная вина. Наверное, так и есть. Я слушаю, киваю, задаю два вопроса. Ему этого хватает, чтобы вспотеть.

Наверху, в кабинете на четвёртом этаже, с видом на трубы и сборочные корпуса, меня уже ждут.

Покупателя зовут Мусса, и это, конечно, не настоящее имя. Он маленький, сухой, в безупречном сером костюме, с чётками из чёрного камня, которые он перебирает тонкими пальцами всё время переговоров. Говорит он на хорошем английском, но я отвечаю ему по-русски, а переводит его же человек: длинный парень в очках, у которого каждый раз дёргается кадык, когда я поднимаю на него глаза.

Предмет разговора — восемьсот единиц, официально проходящих как гражданские карабины, неофициально переделываемых за две недели в то, чем они были задуманы. Плюс боеприпас. Плюс маршрут, на котором в двух местах стоят люди, получающие от меня деньги, чтобы ничего не видеть.

— Мой клиент хотел бы снизить цену на пятнадцать процентов, — переводит очкарик. — Ввиду объёма. И ввиду того, что, по его сведениям, у вас сейчас… некоторые сложности.

Я откидываюсь в кресле. Медленно, так, что скрипнула

кожа.

— Какие сложности?

Очкарик переводит. Мусса улыбается, перебирая чётки.

— Говорят, что вы заняты личными делами, господин Северов. Что вы редко бываете на заводе. Что у вас дома гостья. Мой клиент уважает частную жизнь, но в бизнесе внимание стоит денег.

Вот так. Мусса живёт в Дубае, сюда прилетает дважды в год и знает про мою гостью.

Я смотрю на него долго, не меняя выражения лица. Внутри у меня в эту секунду всё становится очень тихим и очень холодным, как бывает зимой на стрельбище, когда ветер стихает и пуля идёт ровно.

— Переведи ему, — говорю я очкарику, не отрывая взгляда от Муссы. — Дословно. Слово в слово, понял?

Кадык дёргается.

— Скажи ему так. Если он, сука, ещё раз произнесёт в моём кабинете слово «гостья», цена вырастет не на пятнадцать процентов. Она вырастет на его ебаную голову. А потом я позвоню его клиенту, настоящему, тому, что в Хартуме, и объясню, почему его посредник больше не прилетит. Цена прежняя. Сроки прежние. Если не устраивает, дверь там.

Очкарик бледнеет до цвета бумаги. Переводит. Я слышу, как он запинается на слове, которое у них, видимо, означает голову, и как ровнее становится его голос на «Хартуме».

Мусса перестаёт перебирать чётки.

Тишина длится секунд десять. За окном на подъездной гудит погрузчик, кто-то орёт на кого-то матом у пятого корпуса, и мне от этого почти уютно. Мусса смотрит на меня, я смотрю на Муссу. Это не первый раз, когда мы так смотрим друг на друга, и он знает, чем это кончалось раньше.

Потом он улыбается снова, широко, по-восточному тепло, и говорит что-то длинное.

— Мой клиент приносит извинения, — переводит очкарик чуть дрожащим голосом. — Он неправильно выразился. Он имел в виду только то, что ценит ваше время. Цена прежняя. Он будет рад подписать сегодня.

— Хорошо, — говорю я. — Подпишем.

И уже пока подписываем, пока очкарик раскладывает бумаги дрожащими пальцами, а Мусса пьёт мой кофе, я думаю только об одном: *откуда, блядь?*

Мусса не стал бы рисковать, повторяя базарную сплетню. Он сказал это, потому что был уверен. Уверенность стоит денег, значит, кто-то её продал. Кто-то здесь, на заводе, рядом со мной, торгует моим домом, как торгуют рыбой с прилавка.

Глеб заходит, когда Мусса уже уехал, а я стою у окна и смотрю, как кортеж покупателя вползает в ворота.

Он аккуратный, как всегда. Серый костюм, тонкие очки без оправы, седина на висках уложена волосок к волоску. Он здоровается, кладёт мне на стол папку с отчётом по безопасности за месяц и садится, только когда я киваю. Семь лет он

так садится, только после моего кивка.

— Удачные переговоры, Лев Арсеньевич?

— Нормальные.

— Мусса показался мне нервным, когда выходил.

— Мусса всегда нервный.

Глеб чуть улыбается. Открывает папку, начинает докладывать: проверка периметра третьего склада, новый подрядчик по видеонаблюдению, инцидент на проходной, когда пьяный слесарь пытался вынести коробку патронов в термосе. Говорит чётко, по делу, ни одной лишней фразы. Я слушаю и смотрю на его руки. Руки спокойные, ухоженные, на безымянном пальце обручальное кольцо. Жена у него библиотекарь, сын учится в Питере. Я сам оплатил парню учёбу, когда Глеб три года назад закрыл для меня вопрос с прокурором Октябрьского района.

— И последнее, — говорит Глеб, закрывая папку. — Я хотел ещё раз извиниться за звонок на прошлой неделе. Насчёт вашего дома. Я понимаю, что полез не в своё дело.

— Понимаешь, — повторяю я.

— Но, Лев Арсеньевич… — Он аккуратно снимает очки, протирает их краем платка. Жест знакомый, он всегда так делает, когда собирается сказать что-то неприятное. — Если в доме действительно человек, которого ищут серьёзные люди, это моя зона ответственности. Это касается завода. Если вам угрожают, значит, угрожают предприятию. Я прошу только одного: дайте мне информацию. Кто она, откуда, кто

ищет. Я смогу выстроить защиту на двух уровнях, завода и дома, связать системы…

Он говорит хорошо, разумно, логично. И мне, мать его, почти хочется ему поверить, потому что семь лет — это не шутка, потому что его сын учится на мои деньги, потому что если не Глебу, то кому тогда вообще.

— Глеб, — говорю я.

— Да?

— Мусса сегодня знал про гостью.

Очки замирают в его пальцах. На долю секунды, не больше. Потом он аккуратно надевает их обратно.

— Это… неприятно, — говорит он. — Значит, утечка.

— Значит.

— Я проверю всех, кто имел доступ. — Он смотрит мне прямо в глаза, спокойно, честно, сочувственно. — Сегодня же. Списки, звонки, всё. Если позволите, я хотел бы опросить и людей в вашем доме. Новенькие, тот же Денис, его ко мне в прошлом месяце из областного агентства перевели, я его толком не проверил. Молодой, болтливый. Мог сказать лишнее где-нибудь в баре.

Денис. Красавчик на причале, пялившийся на окна второго этажа.

Мне не нравится, как легко у Глеба это имя ложится на язык. Но мне и Денис не нравится. И то, как он смотрел на неё у ворот. Мысли слипаются в один грязный ком: ревность, подозрение, усталость, Коля в морге. И я сам не понимаю, в

какую сторону этот ком катится.

— Дом не трогай, — говорю я. — Дом мой. Завод проверь.

— Как скажете.

— И, Глеб.

— Да, Лев Арсеньевич?

— Ты мне скажи как профессионал. Если бы ты продавал информацию обо мне, как бы я об этом узнал?

Он не моргает. Семь лет выучки, и он, сука, не моргает.

— Никак, Лев Арсеньевич, — говорит он с едва заметной улыбкой. — Если бы это делал я. Поэтому вам и нужен я, чтобы искать тех, кто это делает хуже.

Ответ отличный. Лучше и не придумаешь.

Именно поэтому мне от него становится холодно.

Я отпускаю его кивком. Он встаёт, забирает папку, у двери оборачивается и желает мне хорошего дня тем же ровным бархатным голосом. Дверь закрывается мягко, без щелчка, он всегда закрывает двери так, будто в доме спят дети.

Я звоню Тимуру.

— Хвост на Глебе оставь. И пусть кто-нибудь тихо поднимет его счета. Жены, сына, тёщи, всех.

— Думаешь, он?

— Я думаю, что я, блядь, уже ничего не думаю, Тимур. Я проверяю.

В четыре я сижу в кабинете Армена над рестораном «Плотина», в старом центре, с видом на пруд и на мокрую набережную. Армен держит этот кабинет как нейтральную зем-

лю двадцать лет, и за двадцать лет здесь ни разу не стреляли. Это тоже, своего рода, закон, а законы этого мира я уважаю.

Стены обиты тёмным деревом, на столе белая скатерть, коньяк, который никто не трогает, и тарелка с бастурмой, которую тоже никто не трогает. Стволов нет: Боцман лично охлопал Гусейна и его москвича у входа, а люди Гусейна, в свою очередь, охлопали Боцмана. Я подставил руки сам, не дожидаясь. Пусть видят, что мне нечего бояться.

Гусейн полный, мягкий, в кашемировом свитере, с золотыми перстнями на коротких пальцах. Говорит он медленно, с ласковым акцентом, как говорят на рынке, когда продают тебе не ковёр, а дорогую мечту о ковре. Москвич рядом с ним молодой, лет тридцати, с аккуратной бородкой и пустыми рыбьими глазами. Он не представляется и не говорит ни слова, только смотрит.

— Лев-джан, — Гусейн разводит руками, — сколько лет, сколько зим. Ты похудел. Работаешь много?

— Говори, Гусейн.

Он вздыхает, будто я его обидел.

— Вот всегда ты так. Ни поесть, ни выпить. Хорошо, по делу так по делу. — Он складывает пальцы домиком. — Захар Ильич передаёт тебе уважение. Большое уважение, Лев-джан. Он помнит, что ты сделал на порту в шестнадцатом году, когда наши люди не договорились с таможней. Он этого не забывает.

— Дальше.

— Дальше у Захара Ильича беда. Его доверенный человек, бухгалтер, ты его знаешь, украл у него… документы. Важные документы. Захар Ильич очень расстроен. Человек пропал, документы пропали. — Гусейн печально качает головой. — Говорят, этот человек прилетал в Екатеринбург. Говорят, у этого человека есть дочка. Красивая девочка, умная, языки знает.

Я молчу. Наливаю себе воды из графина, медленно, полный стакан. Пью.

— Захар Ильич не хочет войны, Лев-джан, — продолжает Гусейн мягко, почти нежно. — Зачем война? Война — это расходы. Захар Ильич хочет мира. И он готов за мир заплатить.

— Сколько?

Гусейн улыбается шире. Москвич рядом с ним не меняется в лице, только его рыбьи глаза чуть сужаются.

— Порт, — говорит Гусейн. — Двадцать процентов в речном терминале. Ты три года хотел туда зайти, Лев-джан, и тебя не пускали. Теперь пустят. Двадцать процентов, чистыми, без вопросов, с документами. Ты знаешь, сколько это в год.

Я знаю. Это больше, чем мой завод приносит за год официально. Это ворота на Волгу и дальше, на Каспий. Это то, за что в двухтысячные люди убивали людей семьями.

— А взамен?

Гусейн разводит руками, перстни блестят под люстрой.

— Взамен ничего страшного. Девочка просто погостит у Захара Ильича. Недельку, может, две, пока её папа не одумается и не вернёт, что взял. Захар Ильич её пальцем не тронет, Лев-джан, клянусь. Он интеллигентный человек, ты знаешь. Будет показывать ей свой фарфор. Ты его коллекцию видел? Мейсен, Севр, восемнадцатый век. Девочка искусство любит, ей понравится.

Москвич впервые улыбается. Тонко, чуть-чуть, одним уголком рта.

Вот тут во мне и поднимается то, что я держал весь день. Держал на кухне, когда она смотрела на меня поверх чашки. Держал с Муссой. Держал с Глебом. Держал сейчас, пока Гусейн говорил «красивая девочка» своим масляным голосом. Поднимается не взрывом, а медленной тяжёлой волной из самой глубины живота, горячей, как раскалённый металл, который льют в форму. Я вижу Колю без колен. Вижу ту жену банкира шесть лет назад. Вижу витрину с фарфором, а перед ней тёмноволосую голову с растрёпанным узлом, тонкое запястье без браслета, трещинку на губе.

Будет показывать ей свой фарфор.

Я ставлю стакан на скатерть. Аккуратно, без стука.

— Ты знаешь, Гусейн, — говорю я тихо, и мой голос в этой комнате звучит почти ласково, так, что у Гусейна на секунду дёргается под глазом, — я ведь ни про какую девочку не слышал. Ни про бухгалтера, ни про документы. Я человек занятой, у меня завод, губернатор, комиссия на следующей

неделе. Чужие дочки меня не интересуют.

— Конечно, Лев-джан, конечно…

— Но раз уж ты приехал и раз уж Захар Ильич так меня уважает, — я наклоняюсь вперёд и кладу обе ладони на стол, — передай ему от меня кое-что. Дословно. Запомнишь?

Гусейн молча кивает.

— Передай Захару, пусть идёт на хуй.

Тишина. Москвич перестаёт улыбаться.

— Передай-передай, Гусейн, — добавляю я. — С уважением. Как ты умеешь.

Гусейн медленно откидывается на стуле. Ласковость сползает с его лица, как дешёвая позолота, и под ней остаётся то, что там было всегда: толстое серое лицо человека, который сорок лет поставлял на Урал героин и девочек и ни о чём не жалеет.

— Ты понимаешь, Лев, — говорит он без всякого «джан», — что ты сейчас сказал «нет» не мне.

— Понимаю.

— Захар Ильич не любит слово «нет».

— А я не люблю, когда мне в кабинете у Армена предлагают торговать бабами, как на вокзале. — Я встаю, и стул подо мной отъезжает назад с тяжёлым скрипом. — Так что мы оба сегодня что-то не любим. Это нормально, Гусейн. Взрослые люди.

Москвич встаёт следом, впервые за весь разговор. Он ниже меня на голову, но смотрит снизу вверх так, будто прице-

ливается.

— Захар Ильич просил передать ещё одно, — говорит он. Голос тихий, без акцента, московский, гладкий, как стекло. — На случай, если вы откажетесь. Он сказал: «Лёва думает, что он умеет ждать. Скажи ему, что я умею лучше».

Я смотрю на него сверху вниз. Долго.

— Как тебя зовут? — спрашиваю я.

Он молчит.

— Ничего, — говорю я. — Я узнаю.

И выхожу.

На улице опять дождь, мелкий, злой, по-уральски бесконечный. Боцман открывает передо мной дверь «Гелика», садится за руль сам, отпускает водителя в машину сопровождения. Мы выезжаем на набережную, и некоторое время он молчит, ждёт, пока я заговорю первым. Он хорошо меня знает.

— Порт, — говорю я наконец. — Двадцать процентов.

Боцман присвистывает.

— Щедро.

— Щедро, когда не собираешься платить.

— Думаешь, кинул бы?

— Я думаю, что Захар никогда не отдаёт то, что можно забрать обратно с трупа. — Я достаю сигарету, прикуриваю, опускаю окно на пару пальцев. — Москвича пробей. Молодой, борода, глаза как у сома. Хочу знать, кто он, откуда, где

живёт его мама.

— Понял. — Пауза. — Лёв. Он сказал, что умеет ждать лучше.

— Слышал.

— Это значит, что он не полезет сразу.

— Это значит, что он полезет тогда, когда я расслаблюсь. — Я выдыхаю дым в щель, его тут же рвёт ветром.

Боцман ничего не говорит. Только руки на руле чуть крепче сжимаются.

Я смотрю на мокрый город за стеклом: на огни, на людей под зонтами, на трамвай, ползущий по Ленина, на всю эту обычную вечернюю жизнь. Всего этого она не видела уже неделю, потому что я её запер. Час назад мне предлагали за неё порт, о котором я мечтал три года, и я послал их на хуй, даже не подумав. Не взвесив. Не посчитав.

Я всегда считаю. Всю жизнь, каждый шаг, каждую сделку, каждого человека. Это единственное, что меня держало на плаву, когда тонули другие. Витя научил меня считать там, на Эльмаше, когда сказал, вытирая сажу с лица: «Лёва, ты живой, потому что я посчитал, что ты стоишь риска. Не подведи арифметику».

Сегодня я впервые не посчитал. Просто сказал «нет», и всё внутри меня было согласно, каждая жила.

Это не долг перед Витей, Северный. Не ври себе хоть в машине. Ты отказал, как отказывают, когда у тебя пытаются забрать твоё. Только она не твоя. Слышишь? Не твоя.

— Который час? — спрашиваю я.

— Половина шестого.

— Ужин у них во сколько?

Боцман косится на меня с таким выражением, будто я спросил его о погоде на Марсе.

— У кого «у них»?

— В доме, Тимур. Нина Павловна во сколько подаёт?

— В восемь, вроде. А что?

Я затягиваюсь. В восемь. Я ничего ей не обещал, ни ужина, ни возвращения к определённому часу. Охранники не ужинают с охраняемыми. Но перед глазами у меня круассан, который она откусила назло, глядя мне в лицо, и розовое пятно, ползущее у неё по шее под ворот кардигана.

— Ничего, — говорю я. — Едем на завод. Мне надо ещё глянуть третью линию и поговорить с Петровичем. А потом домой.

— Не успеешь к восьми.

— А я и не собирался успевать, — говорю я.

И вру, конечно. Опять.

Третья линия, Петрович, звонок из Москвы о комиссии, потом ещё один, от человека Тимура в окружении Хирурга. Человек испуганным шёпотом говорит, что Захар этой ночью дважды разговаривал с кем-то из Екатеринбурга, номер чистый, одноразовый. Потом нужно лично поговорить с одним ментом в отставке, который должен мне жизнь и, возможно, знает, кто ставил жучки на Патриках. Мент живёт

в Берёзовском, в частном доме, и разговор с ним выходит не таким, как я рассчитывал. В конце разговора он сидит на кухне, держась за разбитую губу, а у меня на правой манжете рубашки расплывается тёмное пятно, не моё.

Когда «Гелик» наконец поворачивает на лесную дорогу к дому, часы на панели показывают без двадцати два. Боцман высаживает меня у дальнего бокса, где «Тойота» стоит с вечера, я меняю машину и последние два километра еду сам, по мокрому гравию, без фар сопровождения, как простой водитель возвращается с поручения хозяина.

Окна в доме тёмные. Почти все.

Только внизу, в столовой, горит свет. Тёплый, неяркий, приглушённый, как от свечей.

Я глушу мотор, сижу в машине, смотрю на это окно и чувствую, как у меня внутри медленно, очень медленно что-то переворачивается.

Потом опускаю взгляд на свою манжету.

Ну что, король Урала. Порт послал, Муссу нагнул, Глеба ощупал, мента в Берёзовском поучил жизни. А теперь иди и объясняй девочке, почему опоздал к ужину, который тебе никто не обещал.

Я поправляю куртку, чтобы не было видно рукава, и иду в дом.

Глава 17. Ужин, который остыл

Лев

К дому я подъезжаю без двадцати два.

Боцман высадил меня у дальнего бокса. Там я пересел в серую «Тойоту», и последние два километра по лесной дороге еду один, как и положено водителю, который возвращается с поручения. Глушу мотор у крыльца и пару минут сижу в машине.

День был длинный. Мусса, Глеб, Гусейн со своим портом, потом мент в Берёзовском, который долго не хотел вспоминать, кто заплатил ему за жучки на Патриках. В конце концов вспомнил, но правая манжета у меня теперь в его крови.

В доме темно. Свет горит только на кухне.

«Нина Павловна забыла выключить», — думаю я. Хотя она никогда ничего не забывает.

Захожу через прихожую, снимаю ботинки и иду на свет.

На кухне за столом сидит Ариана. На ней тот же кардиган, что утром, ноги поджаты под себя, а перед ней чашка чая, давно остывшего. Рядом на плите стоит сковорода под крышкой, на столе тарелка с нарезанным хлебом.

Но смотрит она на дверь. И когда я вхожу, вскакивает так резко, что чай плещет на стол.

— Ну?

— Что «ну»?

— Вы сказали, что едете по поручению папы. — Она смотрит на меня, и в глазах у неё только один вопрос, ни злости, ни обиды пока. — Вы его видели? Говорили с ним? Он что-нибудь передал?

Вот оно что.

Она ждала не меня, а новостей.

Молодец, Северный. Наврал девчонке с утра, чтобы не задавала вопросов, и забыл. А она шесть часов сидела и ждала.

— Нет, — говорю я. — Не видел.

— А говорили?

— Я забирал бумаги у его людей. С ним самим не говорил.

Она медленно садится обратно. Смотрит на лужицу чая на столе. Потом берёт салфетку и вытирает её, аккуратно, долго, хотя там вытирать на две секунды.

— Понятно, — говорит она.

— Ариана…

— Нет, всё нормально. — Она комкает салфетку. — Я просто подумала… Глупость, в общем. Вы сказали «по поручению», и я подумала, что, может, он хотя бы записку… Неважно.

Мне хочется что-нибудь сломать. Желательно об себя.

— Он жив, — говорю я. — Это я знаю точно. С ним всё в порядке.

— Откуда?

— Знаю.

Она поднимает на меня глаза, и теперь в них появляется злость. Хорошо. Со злостью мне проще, чем с этим.

— Знаете, — повторяет она. — Вы всегда всё знаете: что папа жив, что у меня на счёте, какой я ем шоколад. Только мне вы ничего не говорите. А я, между прочим, сижу тут с восьми вечера. Нина Павловна ушла спать, я ей сказала, что сама дождусь. Вы сказали «до вечера». Два часа ночи — это не вечер, Лев.

— Я не обещал к ужину.

— Вы могли позвонить! В этом доме у каждого второго рация. Вы могли передать через охрану: «Новостей нет, ложитесь». Пять слов!

— Мог, — соглашаюсь я.

— Так почему не передали?

Потому что в это время я сидел напротив человека, который предлагал мне за тебя порт.

— Работа, — говорю я.

— Это не ответ.

— Другого нет.

Она встаёт из-за стола и идёт к раковине, со стуком ставит туда чашку. Стоит ко мне спиной, держась обеими руками за край столешницы, и я вижу, как у неё под кардиганом поднимаются плечи.

— Знаете, что самое противное? — говорит она, не оборачиваясь. — Я после двенадцати перестала думать про папу. Я начала думать, что что-то случилось с вами. Сидела и

думала, что вас там где-нибудь… Не знаю. Машина, авария. Вы же охранник, у вас работа такая, вы сами сказали.

Она замолкает. Я тоже молчу, потому что не знаю, что на это ответить. Мне никто никогда такого не говорил. Боцман не в счёт, Боцман за меня боится профессионально.

— А потом я разозлилась, — продолжает она, — что сижу ночью на кухне и переживаю из-за охранника, которого знаю неделю. Это ненормально. Вы мне никто. Вы мне не нужны, понятно? Мне нужен мой отец, мой телефон и моя жизнь. А вы мне не нужны.

Она поворачивается, чтобы уйти, и упирается в меня. Я не заметил, как подошёл. Теперь мы стоим у кухонного острова: справа у неё столешница, сзади раковина, а впереди я.

— Пропустите.

— Повтори.

— Пропустите меня.

— Нет. Что ты сказала перед этим.

Она задирает голову. Она босиком, и ей приходится смотреть на меня снизу вверх.

— Вы мне не нужны, — говорит она. Уже не так твёрдо.

— Ты, блядь, понятия не имеешь, что тебе нужно, принцесса, — говорю я тихо. — И что нужно мне, тоже.

— А что нужно вам?

Я кладу левую ладонь ей на затылок. Она вздрагивает, но не отстраняется. Наоборот, чуть откидывает голову назад, мне в руку, и смотрит так, что у меня перехватывает дыха-

ние.

Её ладонь ложится мне на грудь. Хотела оттолкнуть, но не толкает. Пальцы сжимаются на футболке.

Я смотрю на её губы. Она смотрит на мои.

Ни один из нас не двигается. Я знаю, что если наклонюсь, обратно дороги уже не будет. Я это знаю, и она, похоже, тоже. Она приподнимается на носки сама, медленно, и закрывает глаза.

Давай, Лев. Она сама тянется. Просто наклонись.

Я наклоняюсь.

В кармане начинает вибрировать телефон.

Кнопочная трубка жужжит у бедра громко и противно. Ариана распахивает глаза и отшатывается. Этот номер в два ночи может набрать только Боцман, и просто так он бы звонить не стал.

Я лезу за телефоном правой рукой и только тогда вспоминаю про манжету. Рукав куртки съезжает, и на белом хлопке рубашки видно бурое засохшее пятно, от запястья вверх.

Ариана смотрит на него.

Я сразу одёргиваю рукав и прижимаю трубку к уху.

— Да.

— Лёв, — голос у Тимура ровный, и это плохой знак. — Датчики на воде. Северный берег, старый причал. Двое на берегу, один в лодке. Туман, тепловизор плохо берёт. Я поднял ребят.

Всё, что секунду назад было у меня в голове, вылетает от-

туда разом. Остаётся одна работа.

— Иду. Свет в доме не включать. Двоих к её двери.

— Понял.

Убираю телефон. Ариана стоит у раковины и смотрит на меня.

— Что случилось?

— Кабаны. На берегу датчики сработали. Тимур дёргается, у него пунктик. Пойду гляну.

— Кабаны, — повторяет она.

— Иди наверх.

Она не двигается. Смотрит на мой рукав.

— У вас кровь.

— Порезался. На заводе, об железо. Ерунда.

— Это много крови для «ерунды».

— Ариана. Наверх.

Видимо, голос у меня такой, что спорить она не решается. Я провожаю её до лестницы. Наверху у её двери уже стоят двое ребят Боцмана, здоровые, молчаливые. Она их видит и останавливается.

— Это тоже из-за кабанов?

— Это чтоб мне спокойнее было.

Она смотрит на меня ещё секунду, потом говорит:

— Руку перевяжите. Если ржавчина, можно столбняк получить.

И уходит к себе.

Этой версии ей хватило. Она решила, что я охранник и

порезался на заводе. Она ещё не умеет думать иначе, и пусть подольше не научится.

На улице холодно и сыро, над водой лежит туман. Я иду вдоль берега к старому причалу с пистолетом в руке. Боцман встречает меня у кромки леса, с тепловизором на лбу и автоматом за спиной.

— Ушли, — говорит он. — Как только наши выдвинулись, сразу развернулись и по воде на ту сторону. Догнать не успеем, у нас одна лодка, и та с мотором, они её за километр услышат.

— На берег выходили?

— Пойдём, покажу.

У причала на песке две пары следов от армейских ботинок, свежие. Они выходят из воды и поднимаются метров на пять вверх, на пригорок между соснами. Там следы стоят на месте, вдавлены глубоко. Стояли долго. Рядом на мху лежит окурок, тонкий, с золотым ободком, дорогая сигарета.

Я встаю туда же, где стояли они, и смотрю в ту же сторону.

С пригорка видно весь дом. А лучше всего видно угловое окно на втором этаже, где горит её ночник.

— Это не нападение, — говорит Боцман. — Захар показывает, что может подойти. И что знает, где её окно.

— Вижу.

— Лёв, ночью в тумане этот причал без точных координат никто не найдёт. Им кто-то дал точку.

— Я понял, Тимур.

Он смотрит на меня и молчит, но я и так слышу, что он хочет сказать. Пока эти двое стояли тут и курили, глядя на её окно, я стоял на кухне и думал только о том, как бы её поцеловать.

— Говори уже, — бросаю я.

— А что говорить? Ты сам всё знаешь.

Знаю. Я закуриваю, прикрыв огонёк ладонью.

— Утром на этом пригорке спилить все кусты. Поставить камеру и датчики. Две лодки на воду, круглосуточно. Сети под водой вдоль северного берега, чтоб любое корыто винтом намотало. Окурок на экспертизу, через своих.

— Сделаю.

— И ещё. На её окне шторы поменять на плотные. Чтобы снаружи даже ночник видно не было.

— Сделаю, Лёв.

Я докуриваю и выбрасываю окурок в воду.

Он умеет ждать лучше, сказал мне сегодня москвич. Посмотрим. Только теперь я ждать не буду.

В дом я возвращаюсь в начале четвёртого. Одного парня оставляю в коридоре на втором этаже, второго отпускаю. Под её дверью горит полоска света. Я останавливаюсь и говорю, не стуча:

— Кабаны ушли. Спи.

Через секунду за дверью слышен её голос, совсем близко, будто она сидит прямо у двери:

— Вы перевязали руку?

— Перевязал.

— Врёте.

— Спи, Ариана.

Пауза.

— На плите сковородка, — говорит она. — Там картошка с мясом, Нина Павловна оставила. Вы же весь день не ели.

— Откуда знаешь?

— У вас лицо голодное.

Я усмехаюсь в темноте. *Голодное. Ты даже не представляешь, принцесса, насколько.*

— Поем, — говорю я.

На кухне я ем прямо со сковородки, холодную картошку, стоя, вилкой. Потом долго отмываю руку под горячей водой. Рубашку снимаю, засовываю в пакет и утром сам сожгу её в котле.

Перед тем как уйти, я смотрю на стол. Там её чашка, которую она так и не домыла, и скомканная салфетка.

Не трогать то, что не твоё.

Сегодня я её почти тронул. Ещё сантиметр, и было бы поздно.

Я выключаю свет на кухне и иду в кабинет. Спать я сегодня не буду. Буду смотреть записи с северного берега, пока не узнаю, откуда пришла эта лодка.

Глава 18. «Денис»

Ариана

После той ночи на кухне Лев делает вид, что ничего не было.

Утром он здоровается, как здоровается с Ниной Павловной: коротко, глядя куда-то мимо. За завтраком молча пьёт кофе у окна. Днём ходит по периметру с Боцманом и о чём-то тихо с ним говорит, а когда я выхожу на крыльцо, замолкает и ждёт, пока я уйду обратно. Вчера вечером я полчаса просидела у себя в комнате, глядя на дверь, и ждала, что он постучит. Он не постучал.

Я решила, что это обидно. Не потому, что мне хотелось, чтобы он постучал, а потому, что обращаться так с человеком нельзя. Почти поцеловал, потом сбежал к своим кабанам, а теперь ведёт себя, будто я часть мебели.

Ладно. Раз он умеет не замечать, я научусь замечать кое-что другое.

Повод похулиганить находится после обеда. Светит неяркое солнце, на озере у причала двое рабочих под присмотром Боцмана натягивают новый трос. На воротах стоит Денис, тот самый охранник, который всю неделю смотрит на мои окна.

Я надеваю короткую куртку и спускаюсь по ступеням. Ничего особенного: лосины, топ, кроссовки. Просто иду к во-

ротам, будто решила прогуляться.

— Денис, добрый день.

Он вздрагивает, прячет за спину сигарету и тут же обжигает себе пальцы. Я стараюсь не улыбнуться.

— Здравствуйте, Ариана Викторовна. Вам что-то нужно?

— Мне скучно, — говорю я честно. — Телефона нет, дальше причала гулять не разрешают. Нина Павловна обмолвилась, что у вас в подвале есть тир. Это правда?

— Ну… есть. — Он краснеет и оглядывается на камеры. — Но без разрешения Льва туда нельзя. Приказ по объекту.

— Лев сейчас занят. А вы же наверняка хорошо стреляете. Может, научите меня? Хотя бы основам. Я буду очень внимательной ученицей.

Говорю это и сама удивляюсь, до чего фальшиво звучит. Но Денису хватает. Он смотрит на меня так, будто я предложила ему переехать в Париж.

— Ладно, — выдыхает он. — Только полчаса. Лев сейчас на связи с… занят, он в кабинете. Пойдёмте через прачечную.

Мне становится неловко. Я ведь не хочу учиться стрелять, я хочу, чтобы Лев узнал. И чтобы ему было неприятно. Денис этого не заслужил, он просто хороший, растерянный мальчишка, который не умеет отказывать. Но отступать поздно.

В тире прохладно, пахнет бетоном и оружейной смазкой. Лампы за железными сетками освещают длинный коридор и

бумажные мишени на другом конце. Денис достаёт из сейфа пистолет, возится с магазином.

— Вот так, — говорит он, стараясь звучать солидно. — Правая рука держит рукоятку, левая поддерживает снизу. Локти не зажимайте, отдача пойдёт в плечи.

Я киваю. Стою рядом, смотрю на его руки и думаю о том, что мне скучно. Разговаривать с Денисом легко, как с младшим братом одноклассницы: он старательно объясняет, я старательно слушаю. Никакого напряжения. Ни капли того ощущения, от которого воздух рядом со Львом становится тяжёлым, как перед грозой.

Дверь за нами открывается так тихо, что я замечаю её только по сквозняку.

Я оборачиваюсь.

Лев стоит на пороге, прислонившись плечом к косяку, руки в карманах. Всё тот же чёрный свитер, всё та же щетина. Лицо спокойное. Но у меня почему-то сжимается живот, как у школьницы, которую поймали за списыванием.

Я ожидаю, что он начнёт ругаться. Скажет Денису, что тот уволен, или что-нибудь резкое мне. Я даже заранее приготовила ответ.

Вместо этого происходит другое.

Денис бледнеет. Не краснеет, а именно бледнеет, за секунду, до серого цвета. Пистолет в его руках тихо стучит о край стола, и я вижу, что парню по-настоящему страшно. Он смотрит на Льва так, как смотрят не на начальника смены.

Так смотрят люди, которые знают что-то, чего очевидно не знаю я.

Странно, думаю я. Лев всего лишь охранник, как и он. Откуда столько страха?

— Вон, — тихо говорит Лев.

Только одно слово. Денис кладёт пистолет на стол, чуть не задевает плечом дверь и исчезает в коридоре. Через секунду где-то наверху хлопает дверь.

Мы остаёмся вдвоём.

Лев подходит ближе. Он не торопится, и от этого мне только хуже.

— Поиграть решила? — спрашивает он негромко. — Назло мне? Думала, я по камерам не увижу, как ты у ворот хвостом крутишь?

— Я хотела научиться стрелять, — говорю я, хотя голос предательски садится.

— Ммм…

Он берёт со стола пистолет, одним движением проверяет затвор и вкладывает рукоятью мне в ладони. Пистолет тяжёлый, руки сразу тянет вниз. Я не успеваю возразить, потому что Лев становится у меня за спиной.

Вплотную.

Я чувствую его сразу всего: грудь, живот, бёдра. Он прижимается, и между нами не остаётся ни сантиметра. Моя спина лежит на его груди, и через тонкий топ я чувствую, какой он горячий и твёрдый. Его дыхание ложится мне на

висок.

— Ноги шире, — говорит он у самого уха.

Носок его ботинка сдвигает мою ногу в сторону. Я переставляю вторую и теряю опору, и теперь я стою только потому, что он меня держит. Его бёдра прижимаются к моим ягодицам, и я понимаю, что он уже тогда, когда шёл ко мне через весь тир, был возбуждён. Я чувствую его даже через его джинсы и мои лосины: твёрдого, горячего, не прячущегося. Он не делает вид, что этого нет.

Сердце у меня ухает куда-то вниз.

— Руки вперёд.

Его ладони накрывают мои. Они огромные, шершавые, почти обжигающие, и мои пальцы под ними теряются. На запястье холодно касается металл его часов, и этот холод только сильнее подчёркивает жар всего остального.

— Смотри на мишень. Дыши.

Я пытаюсь дышать. Получается неглубоко и прерывисто. Его левая рука отпускает мою и ложится мне на живот, плотно, чуть ниже пупка, и прижимает меня к нему ещё крепче. Большой палец упирается в границу лосин. Я вздрагиваю всем телом.

— Тихо, — говорит он. — Не дёргайся. Выдохни и замри.

Его палец давит на мой, лежащий на спусковом крючке.

Выстрел. Грохот бьёт по ушам, пистолет подскакивает, и отдача проходит через мои руки прямо в него. Он принимает её на себя, и я чувствую, как напрягается каждая мышца

на его груди. А потом его бёдра чуть подаются вперёд, едва заметно, как будто тело делает это само. Я слышу, как он коротко втягивает воздух сквозь зубы.

— Ещё, — хрипло говорит он. — Не закрывай глаза.

Второй выстрел. Третий. Каждый толчок отдаёт в нём и в моём теле одновременно. Я уже не вижу мишень. Внизу живота разливается тяжёлое, горячее, почти болезненное тепло, и я с ужасом понимаю, что бельё у меня влажное. Я сжимаю колени, и от этого становится только хуже: ощущение собирается в одном месте, пульсирует, требует.

Он замечает: его рука на моём животе медленно сползает ниже. Он не заходит под ткань, останавливается на самом краю, широкой ладонью лежит на лобковой кости, и от этого тепла у меня подгибаются ноги.

— Лев, — выдыхаю я. — Пожалуйста.

Я не знаю, о чём прошу. Чтобы убрал руку или чтобы не убирал.

— Что «пожалуйста»? — Его губы касаются мочки моего уха. Щетина царапает кожу. — Скажи.

— Не знаю.

— Знаешь.

Он прижимает ладонь сильнее. Я не удерживаюсь и сама подаюсь назад, прямо в него, и слышу, как у него вырывается глухой, низкий звук, почти стон, который он тут же давит в горле. Я чувствую его очень отчётливо: длину, твёрдость, жар. Он упирается между моих ягодиц, и я двигаюсь, один

раз, медленно, потому что не могу иначе. Всё тело знает, чего хочет, быстрее, чем голова.

— Блядь, Ариана, — шепчет он мне в шею. — Не делай так.

— Почему?

— Потому что я не остановлюсь.

Его рука на моём животе дрожит. Я чувствую эту дрожь, сдерживаемую, как натянутая тетива. Он мог бы развернуть меня, прижать к стене, стянуть лосины, и я бы не сказала «нет». Я это знаю. Он это знает. Мы оба стоим на этом знании и не двигаемся.

Его губы скользят по моей шее, от уха вниз, к плечу. Не поцелуй, скорее дыхание, горячее и влажное, и один раз, всего один, я чувствую его зубы на коже, лёгкий нажим. Я запрокидываю голову ему на плечо и закрываю глаза. Колени подкашиваются окончательно, и он держит меня одной рукой так, будто я ничего не вешу.

— Шестой, — хрипит он. — Последний. Стреляй.

Я нажимаю. Выстрел. Затвор встаёт на задержку, магазин пуст.

Тишина. Сизый дым медленно уходит под потолок. Мы стоим не двигаясь: его грудь ходит у меня за спиной тяжело и часто, его ладонь всё ещё лежит там, где лежит, а моё сердце бьётся так, что отдаётся в животе и между бёдер. Я хочу, чтобы он продолжил. Я почти говорю это вслух.

Он убирает руку.

Сначала с живота, медленно, будто отрывает от кожи. Потом разжимает пальцы поверх моих, и забирает пистолет. Делает шаг назад. Холодный воздух хлещет по спине, и я едва не оседаю на пол, пока не ловлю край стола.

— Иди наверх, — говорит он. Голос сорван, глухой. Он стоит ко мне боком, и я вижу, как он сжимает кулак, так, что белеют костяшки. — Иди, пока я могу тебя отпустить.

— А если я не хочу уходить?

Он медленно поворачивает голову. Глаза у него тёмные, почти чёрные, и смотрят на меня так, что мне становится страшно и хорошо одновременно.

— Тогда я не смогу, — говорит он тихо. — А я дал слово твоему отцу. Поэтому иди.

Я иду. Ноги ватные, лосины неприятно липнут, щёки горят. У двери оборачиваюсь, но он уже стоит спиной, упершись ладонями в стол, и опустив голову, и дышит, как человек, только что вынырнувший из-под воды.

Я поднимаюсь по лестнице, держась за стену. Запястья помнят его ладони, шея помнит дыхание. Стыдно мне не так сильно, как должно быть, и это пугает меня больше всего.

Вечером Нина Павловна приносит ужин в комнату. Я спрашиваю про Дениса. Она отводит глаза. Значит его всё-таки накажут?

— Он просил передать вам, что не обижается, — говорит она. — Что вы добрая и ни в чём не виноваты.

Мне становится так стыдно, что я не могу доесть суп. Хо-

чется найти этого мальчика и извиниться. Но я знаю, что мне не дадут. Ничего мне здесь не дают сделать самой.

Ночью я лежу при жёлтом свете и думаю о том, как странно Денис смотрел на Льва. Не как на старшего коллегу, а так, будто боялся, что тот прикажет ему исчезнуть, и он исчезнет. Я пытаюсь найти этому объяснение. Может, Лев когда-то служил в серьёзном месте, и его там знают. Может, у него в агентстве репутация. Охранники, наверное, бывают такими: тихими и страшными для своих.

Объяснение выходит удобное, и я им пользуюсь. Но где-то на самом краю сознания продолжает торчать мысль, которую я пока не трогаю: люди так не боятся водителей.

За окном щёлкает зажигалка. Я не закрываю окно.

Глава 19. Предел

Лев

Бутылку я открываю в десять вечера и до полуночи пью один.

Я обычно не пью, не люблю терять голову на людях. Но сейчас людей нет, дом спит, и я сижу в кресле с рюмкой, смотрю на чёрный экран и чувствую, как под рёбрами ничего не отпускает.

Денис уехал в шесть вечера. Глеб прислал за ним машину, оформил перевод одним звонком, без вопросов и очень быстро. Я отметил это и сразу выкинул из головы, потому что в голове у меня было другое.

Тир. Её спина у меня на груди. Мой член, упёршийся ей между ягодиц. И то, как она качнулась назад, один раз, медленно, будто проверяла.

Я знаю, как это выглядит со стороны. Взрослый мужик, которому тридцать четыре, держит девчонку за живот, и чуть не кончает в штаны, как пацан в восьмом классе. Я стою над этим, как над трупом, и разглядываю, и мне противно.

Я мог развернуть её и взять там же, на столе, среди гильз. Она бы не сказала «нет». Она сама сказала «пожалуйста». И вот это «пожалуйста» мне теперь не даёт покоя больше, чем всё остальное.

Она не знает, чьё это «пожалуйста». Она думает, что

просит водилу. Охранника с рынка, в китайском свитере.

Я допиваю рюмку и наливаю третью.

Стояк не проходит уже шесть часов. Я пробовал холодный душ, потом отжимался до дрожи в руках, потом полтора часа бил мешок, пока не стёр костяшки. Всё без толку. Яйца ноют, как будто их зажали в тисках, в паху тянет, в голове пусто и одна картинка: её рука на моей, мой палец на её пальце, выстрел.

В час ночи звонит охрана с ворот.

— Босс… — Парень осекается. — Лев. Тут к вам женщина. На «Рендж Ровере». Говорит, Вероника Андреевна. Мне пропускать?

Я смотрю на телефон. Потом на бутылку.

Вероника. Вдова Андрюши Лазарева. Мы с ней начали лет шесть назад, и с тех пор она заезжает, когда хочет или когда хочу я. Без обязательств, без разговоров. Красивая, холодная, умная женщина, с которой удобно трахаться и неудобно оставаться в одной комнате после.

Дом не для неё. Вообще не для кого, кроме Арианы. Я знаю это и всё равно говорю:

— Пропусти. Проводи ко мне в кабинет. Через боковую дверь.

Это глупость, и я это понимаю.

Только вот стояк у меня никуда не делся, и мне нужно куда-то его деть.

Она входит без стука, как всегда.

Высокая, в чёрном приталенном пальто, под которым что-то тонкое, шёлковое, светлые волосы убраны в узел. Ей тридцать восемь. Красная помада, длинные ноги, острые каблуки. Она закрывает за собой дверь на замок, не оборачиваясь, и смотрит на меня с холодной улыбкой.

— Лёва. Ты звонил моему менеджеру. Три раза. Без слов. Я решила, что ты умираешь.

— Я не звонил.

— Звонили с твоего номера. — Она склоняет голову. — Хотя нет. Ты не звонил. Это я зашла посмотреть, жив ли ты. Ты стал редко появляться.

Врёт. Я не набирал её месяца три. Но мне всё равно.

Она подходит, снимает пальто и роняет его на кресло. Под ним чёрное платье на тонких бретелях, короткое, облегающее. Она знает, что делает. Всегда знала.

— У тебя в доме кто-то живёт, — говорит она мягко, как говорят «у тебя ботинок развязался». — Девушка. Мне сказали.

— Кто сказал?

— Люди. — Она берёт мою рюмку и допивает остаток коньяка. — Не волнуйся, Лёва. Мне это неинтересно. Мне интересно только то, что у тебя в штанах.

Она ставит рюмку, подходит вплотную. Пальцы ложатся мне на ремень. Спокойно, уверенно, она делает это в сотый раз.

Я перехватываю её запястье.

Хочу остановить. Не знаю зачем: сказать «уходи», выставить, закрыть дверь. Хочу ли, не знаю. Её глаза смотрят на меня, насмешливые, голодные, зелёные, и я понимаю, что мне нужно. Мне нужно, чтобы кто-то снял с меня это. Любым способом.

— Раздевайся, — говорю я.

Она не стесняется. Платье скользит с плеч на пол, под ним ничего, только чулки с кружевной резинкой. Грудь у неё полная, упругая, с тёмными сосками, которые уже торчат. Живот плоский, бёдра узкие, лобок выбрит. Тело дорогое, ухоженное, красивое. Я смотрю на него и ничего не чувствую, кроме того, что давит в паху.

Хватаю её за волосы на затылке. Узел сдаётся, светлая масса падает ей на плечи. Разворачиваю лицом к столу и толкаю вперёд. Она упирается ладонями в столешницу, прогибается, выставляя задницу.

— Вот так, — говорит она низким, довольным голосом. — Давно ты не был таким злым.

Я расстёгиваю ремень. Член выпрыгивает тяжёлый, красный, налитый до боли, с блестящей головкой. Сжимаю его у основания, потому что иначе кончу, едва коснувшись её.

Она мокрая. Я нащупываю это двумя пальцами, грубо, без прелюдий, провожу по складкам и чувствую, как они скользят. Она всегда готова ко мне быстро.

Я вхожу одним толчком, до упора.

Она вскрикивает, низко, хрипло, и впивается ногтями в

дерево стола. Горячо, туго, влажно. Тело принимает меня как должно, и я начинаю двигаться, сразу жёстко, без разгона, вбиваясь бёдрами в её задницу так, что стол скрипит и ползёт по паркету.

— Да, Лёва… Да, вот так…

Я не отвечаю. Одной рукой вцепляюсь ей в бедро, другой наматываю её волосы на кулак и тяну назад, заставляя выгнуться. Шлепки тела о тело гулко отдаются в кабинете. Её груди мотаются, дыхание срывается на стон. Я вижу, как мой член исчезает в ней и выходит блестящим, мокрым, тёмным от крови, прилившей к коже.

И в голове у меня абсолютная, мёртвая тишина.

Это самое поганое. Я должен чувствовать хоть что-то. Удовольствие, злость, облегчение. Но я чувствую только механику: вход, выход, трение, жар. Как будто смотрю на чужую работу со стороны. Член делает своё дело сам, а я стою рядом и думаю.

Я думаю про её руки на пистолете.

Тонкие пальцы, коротко стриженные ногти, дрожь в запястьях. Её вес на мне. Тот самый момент, когда она качнулась назад и вжалась ягодицами в мой пах, а я чуть не потерял сознание от того, как сильно захотел.

Ариана.

Я зажмуриваюсь.

Вероника подо мной стонет громче, подаётся навстречу, и я перестаю её слышать. Я вижу тёмные волосы, а не свет-

лые. Слышу «пожалуйста», а не «Лёва». Вижу узкую спину в сером топе, ложбинку между лопатками, влажную от пота.

Ускоряюсь. Толчки становятся глубже, злее, ноги дрожат, мышцы в пояснице горят. Член пульсирует, яйца поджимаются, всё тело тянется к одной точке. Вероника кричит что-то, я не разбираю, сжимается вокруг меня, горячими, частыми спазмами, и этот ритм выбивает из меня последнее.

Я кончаю с коротким рычанием, вдавливаясь в неё до упора, и выплёскиваюсь глубоко, толчками, пока ноги не перестают держать. Облегчение наступает, физическое, тупое, настоящее. А следом приходит то, что я ждал: пустота и отвращение.

Я выхожу из неё, ещё твёрдый. Стягиваю презерватив, который успел надеть, не помню когда, и швыряю в корзину. Застёгиваю ремень.

Вероника медленно разгибается и поправляет волосы. Лицо у неё раскрасневшееся, довольное. Она поворачивается и смотрит на меня внимательно, слишком внимательно для женщины, которую только что оттрахали.

— Ты не здесь был, Лёва.

— Одевайся.

— Ты называл не моё имя.

Я замираю.

— Нет, не вслух. — Она усмехается. — Но у тебя лицо… такое бывает у мужчин, когда они представляют другую. Я ведь тебя знаю давным давно. Такого лица у тебя ещё не бы-

ло.

Она подбирает платье, не торопясь надевает. Красная помада у неё размазана, и это почему-то выглядит жалко.

— Забавно, — говорит она. — Северный. Каменный. И вдруг влюбился в девочку.

— Я не влюблён.

— Конечно. — Она застёгивает молнию. — Ты просто в бешенстве, что не можешь её трахнуть.

— Заткнись, Вероника.

— Я лишь сказала правду. — Она поднимает пальто, смотрит на меня через плечо. Глаза холодные, как лёд. — Береги её, Лёва. Говорят, у таких девочек плохо кончается рядом с такими, как ты.

Ледяная игла проходит у меня по спине.

— Это угроза?

— Это совет. — Она улыбается, мило, почти ласково. — Я же тебя люблю. По-своему.

Она уходит. Каблуки отстукивают по коридору, сначала быстро, потом тише. Хлопает входная дверь. Я стою в кабинете и слушаю, как заводится «Рендж Ровер» и уезжает вниз по гравию.

В комнате пахнет сексом и коньяком. Я открываю окно настежь и закуриваю.

Ниже падать некуда, Северный.

Тридцать четыре года. Теневой босс Урала. Я только что выебал бабу в собственном кабинете, пока девочка, которую

мне доверили как святыню, спала этажом выше, и думал о ней. Я защищаю Витину дочь от врагов. Я не могу защитить её от самого себя.

Я не могу просто пойти спать. Сижу на террасе с пачкой сигарет, пока небо над озером не начинает светлеть. Серо, холодно, с туманом над водой. В шесть утра выхожу на крыльцо, потому что больше не могу сидеть.

И вижу её.

Ариана стоит на лестнице второго этажа, у перил, в длинной белой рубашке и босиком. Волосы растрёпаны, лицо бледное, измятое со сна.

Я иду в холл, быстро, но она уже повернула голову. Глаза у неё широко раскрыты, зрачки огромные, а в них не гнев и не обида, а что-то хуже: понимание. Она слышала. Даже если не стоны и разговор, но звук мотора ночью, голос Вероники на крыльце, каблуки.

Или ещё хуже. Она видела.

— Ариана, — говорю я.

Она молчит. Смотрит на меня сверху вниз, спокойная до жути, с прямой спиной, как в первый вечер, и я вижу, как внутри неё что-то закрывается.

— Доброе утро, Лев, — говорит она ровным голосом.

— Это…

— Не надо. — Она чуть поднимает ладонь. — Это не моё дело.

Разворачивается и уходит по коридору. Дверь её спальни закрывается мягко.

Я остаюсь стоять в холле, как идиот. Рядом с моим ботинком на полу лежит шпилька Вероники.

Поднимаю, сжимаю в кулаке и чувствую, как острый конец впивается в ладонь.

Спасибо, Северный. Теперь она знает, какой ты на самом деле.

Глава 20. Ты всего лишь прислуга

Лев

Гроза приходит к одиннадцати вечера, и к полуночи дорога вдоль озера превращается в чёрную воду с белыми прожилками молний.

Я сижу в кабинете над отчётом Боцмана и не читаю его уже минут двадцать. Глеб ушёл со склада без единой царапины, москвич пропал с радаров, Гусейн молчит, и эта тишина бесит меня сильнее любой угрозы. Я тру большим пальцем рубец на ладони и ловлю себя на том, что слушаю дом, а не дождь. Наверху нет шагов и не шумит вода в трубах. Ариана с утра не выходила из комнаты и к ужину не спустилась. Нина Павловна постучала, и она ответила через дверь: «Не голодна». Я стоял в коридоре и слышал, как она старается, чтобы голос не дрожал.

От этого спокойствия мне хочется врезать кулаком в стену.

«Сам виноват, мудак, — думаю я. — Не хочешь трогать, так не трогай. Нехер было трахать Веронику».

Молния бьёт совсем близко. Свет мигает раз, другой, и дом гаснет целиком, вместе с камерами и холодильником. Через три секунды в подвале ворчит генератор, но лампы не возвращаются: щит у ворот выбило, и в жилую часть ток не идёт. Чёрт, у Арианы сейчас темень.

Я встаю раньше, чем успеваю подумать.

В коридоре меня перехватывает Нина Павловна с коробкой свечей и фонариком.

— Лев Арсеньевич, я к ней поднимусь…

— Я сам. Иди к себе.

Она смотрит долго, но ничего не говорит, отдаёт лампу и уходит. Я поднимаюсь по лестнице, и с каждой ступенькой гроза за окнами становится громче.

Комната Арианы пуста. Постель разобрана, на тумбочке стоит мёртвый ночник, дверь в ванную открыта. Я замираю на пороге, и внутри всё холодеет: в темноте, которой она боится, её нет.

— Ариана.

Тишина. Я иду по этажу с фонариком, заглядываю в гостевые, в бильярдную, к чёрной лестнице. Потом вспоминаю, что днём она спрашивала у Нины Павловны, где взять что-нибудь почитать, и мне докладывали, что она нашла библиотеку.

Дверь библиотеки приоткрыта.

Она сидит на полу между двумя стеллажами, подтянув колени к груди, в футболке и домашних штанах, босая. Рядом валяется раскрытая книга. Волосы растрёпаны, браслет сполз к самой кисти. Когда свет лампы падает на неё, Ариана вскидывает голову, и по щекам видно, что плакала она давно.

— Я за книгой пришла, — говорит она быстро и слишком

ровно. — Ещё до того, как погас свет. Я просто читала и не заметила.

— Ты сидишь на полу в темноте и ревёшь, — говорю я тихо.

— Я не реву.

Я ставлю лампу на стол, и тени от стеллажей ползут по потолку. Ариана вытирает лицо ладонью и поднимается, держась за полку. Колени подгибаются, и она делает вид, что просто поправляет штаны.

— Генератор работает, — говорю я. — Свет вернут через час, максимум два. Пойдём, отведу тебя в комнату и оставлю лампу.

— Не нужно.

— Ариана.

— Я сказала, не нужно. — Она поднимает подбородок. — Идите к своим делам. Или к гостям, их у вас, кажется, много.

Я молчу. Она принимает это за слабость и продолжает с той любезной улыбкой переводчицы, от которой у меня сводит челюсть:

— Простите, я забываюсь. Это не моё дело, кого вы водите в дом. Только давайте проясним, Лев. Вы здесь работаете. Возите меня, стоите у двери, получаете за это зарплату. Вы такой же наёмный работник, как Нина Павловна и тот парень на воротах. Прислуга. А ведёте себя так, будто всё здесь решаете вы. Забираете мои вещи, устанавливаете правила, го-

ворите, куда мне можно ходить. Знайте своё место.

Прислуга.

Я слушаю это и чувствую, как внутри становится совсем тихо. Двенадцать человек в смену на заводе встают, когда я вхожу. Хозяин вот этого дома, этих стен, этих книг, которые она листает, стоит сейчас перед ней и слышит, чтобы я знал своё место. Смешно, если подумать. Но смеяться мне не хочется.

— Повтори, — говорю я.

— Прислуга, — отвечает она и даже не моргает. — Вы прислуга, Лев.

Я делаю шаг. Один. Она не отступает, и это злит меня ещё сильнее.

— Значит, так, — говорю я тихо. — Из-за чего ты ревёшь? Из-за бабы, которая приезжала ко мне, чтобы я её трахнул? Вот из-за этого ты рыдаешь, девочка, которая мне не платит, которая мне никто и звать никак?

Её лицо меняется. Кровь сначала уходит с него полностью, потом приливает к щекам, и в глазах у неё стоит такая обида, что на секунду мне самому становится не по себе.

— Не смей, — выдыхает она. — Не смей так со мной говорить. Не смей делать из меня дуру.

И бьёт.

Ладонь с размаху ложится мне на щёку, звонко, до звона в ухе, и браслет следом цепляет скулу. Голова чуть поворачивается, и я остаюсь стоять так, чувствуя, как горит кожа.

Ариана замирает с поднятой рукой. В её глазах уже ужас.

Я медленно поворачиваю голову обратно.

— Всё?

Она не отвечает. Дышит часто, грудь поднимается под тонкой футболкой, губы приоткрыты. Я смотрю на неё и вижу, что она не отступила ни на шаг, хотя могла.

Потом она делает то, чего я не жду вообще. Поднимается на цыпочки, хватает меня за ворот рубашки обеими руками и тянет вниз, к своему рту.

Поцелуй у неё злой, неумелый, отчаянный. Зубы стукаются о мои зубы, она впивается в нижнюю губу, и я чувствую вкус соли от недавних слёз. Три секунды я стою неподвижно, потому что последний здравый кусок в голове орёт: «Не трогай, она дочь Вити, ты ему должен». А потом я перестаю его слушать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.